

Христо-борец
Геленджикские рассказы

Дмитрий Попандопуло
www.popandopulo.ru

©Одесса 2000

0.1 Дмитрий Спиридонович Попандопуло

родился (1935) и вырос в городе Геленджик Краснодарского края. Отец, грек по национальности, погиб на фронте в Великую Отечественную войну. Мать, санитарка санатория, одна растила двоих сыновей. Оба стали офицерами Советской Армии. Дмитрий прослужил более тридцати лет, в отставку ушел в звании подполковника. В годы службы закончил Московский полиграфический институт, факультет графики, последние годы был военным редактором. В газетах и журналах печатались его очерки, заметки, рисунки. Книга рассказов "Христо-борец" – первая писательская проба автора. С 1977 года живет в городе Рязань.

Рисунки Автора.

0.2 От автора

Наш город, конечно, не Одесса, здесь не было своих Бабелей и Жванецких. Но остропрямый причерноморский говор наверняка, если прислушаться, можно услышать во всех приморских городах - от Одессы до Адлера, а может быть и дальше, где еще обитают русскоязычные. В нашем городе они тоже обитают: греки, армяне, грузины, татары. После русских больше всего греков, или, как теперь их принято называть, понтийских греков. У Понта Эвксинского, то есть у Черного моря, до сих пор есть села, большинство жителей которых греки. Разные они – хитрые и простодушные, смешливые и малоразговорчивые, хвастливые и скромные. Умение говорить просто, но вместе с тем иронично и смешно свойственно многим моим землякам, и не одним грекам. Слушать их не надоедает, особенно тех, кто постарше. И конечно, кто имеет желание поговорить, да если еще за стаканом вина и когда не слишком наседают болезни. Их, этих говорунов, по печальному закону природы все меньше остается. Те, кому по тридцать-сорок – уже другие. Они деловиты и сдержанны, они как бы размыты тем мощным потоком пришлых со всех концов огромной страны, которые в последнее время перебрались жить к теплому морю, но в большинстве своем не полюбили этого моря, этого города – не ощутили аромата здешнего воздуха, местных традиций, обычаев...

Русские, греки, армяне... Не все ли равно, что там означено в пятой графе. Как говорим – был бы человек хороший. В основе историй, печальных и смешных, подлинные люди, многих уже нет среди нас. По понятным соображениям я изменил имена и фамилии некоторых персонажей, я их всех люблю и не хочу ненароком обидеть. Они – часть местного фольклора, а фольклор – часть истории. Время неумолимо,

многое и многие забываются. Но пока мы помним – мы живем...

1 Понтийские истории

1.1 Христо-борец

Было время, когда набережную, территории здравниц украшали итальянские балюстрады, ротонды, всевозможных форм и размеров чаши, в которых росли разные цветы. О чем говорить, цветов тогда было столько, что их можно было косить, но никто не только не косил, но даже не рвал и не топтал их, шагая напрямик с выпученными глазами, спрашивая каждого встречного про то, как пройти до рынка.

Так вот все те радующие глаз чистой белизной украшения делал из крепкого бетона Христо Кутаниди, который сам себя называл скульптором-каменщиком, что, наверное, давало ему особый вес при заключении договоров на изготовление всех этих украшений. Впрочем, конкурентов у него в этом деле не было, работал он классно, имея в помощниках младшего брата Тасико.

Из-за этого самого Тасико Христо еще с довоенного времени стали в городе звать "Христо-борец". Тогда у нас было несколько популярных мест, куда по вечерам собирался цвет тогдашнего мужского населения. Одно такое место – это пивная на мосту. Под мостом всегда шумела единственная речка, впадающая, как и сейчас, в бухту в черте города – речка Сераун, которую и тогда, конечно, все называли Серун. А в пивной шумели греки-рыбаки, грузчики, каменщики, сапожники. Они пили пиво, закусывали солеными и твердыми, как камень, бубликами и говорили за свои местные проблемы. Редкий вечер сюда не заходили братья Кутаниди. Христо обычно три свои кружки выпивал залпом, одну за другой, слегка поболтав с одним-другим, уходил, поскольку ему, как всякому полному до необъятности человеку, было жарко, а Тасико продолжал мусолить свою кружку и начинал задираться и вредничать, потому что был не такой как старший брат, а маленький и тощенький. Скоро ему удавалось кого-нибудь спровоцировать на скандал, пахло потасовкой, но только чей-то кулак появлялся у его нахальной морды, как тот применял запрещенный прием.

— Ты знаешь, кто мой брат? — кричал он. — Мой брат – борец!

С Христо из-за его круглой, как бочка, конфигурации и квадратных кулаков никто иметь дела не хотел и все после этого говорили Тасико "да пошел ты" и отходили от него в сторону. Христо, правда, борьбой никогда не занимался, но ничего против такого почетного прозвания не

имел и даже наоборот, стал ходить совершенно вразвалочку, косолапо, локти держал подальше, а живот так совсем вывалил из брюк.

Наши остряки утверждали, будто он и родился, уже имея такую крупную мозоль. Вполне возможно, сколько помню, конфигурацию он не менял. Но это совсем не мешало ему иметь твердую профессию, опять же твердые руки и, я вам скажу, упорный характер. . .

* * * * *

— Добавь пару лопат цемента. Так. И мищай люче. — Христо лежал под старым ясенем, прикрыв глаза кепкой, и казалось, что он дремал и не видел наших с Юркой, его сыном, кошмарных напряжений над тем сумасшедшим раствором. Нам стукнуло в то лето по пятнадцать лет и Христо взял нас к себе в подсобники вместо Тасико, у которого случился плеврит. Нам было обещано по два рубля в день за работу, не считая обеда в столовой. Ох и тяжело же было поначалу ворочать цемент да песок, размешивать крутой, как тесто, раствор, трамбовать его ручной бабой в гипсовые разъемные формы. Здоровенного жестяного корыта с раствором как раз хватает на то, чтоб сделать одну подставку — ”тумбу”, как называет ее Христо, под вазу. ”Тумба” — это основная несущая часть, есть еще цоколь и верхняя шейка. Все три части изготавливаются в отдельных формах и соединяются между собой и вазой при помощи толстого прутика. Правда, вазу Христо нам не доверяет, трамбует сам, остальное делаем мы под его команду.

— Стоп. Лей типэр мало воды, чтоб на дне ведра, не больше, — и опять до потемнения в глазах мы с Юркой ворочаем огромными лопатами. Христо стоит над раствором, что полководец над картой, рассматривает, мнет тесто пальцами.

— Давай, трамбууй, — и он опять заваливается под дерево и надвигает на глаза кепку.

Самое ответственное — разборку формы — делает тоже сам. Пальцами раскручивает стяжную проволоку, которую нам с Юркой и пассатижами не раскрутить. Смотришь, будто совсем без усилий, это ж надо такие железные пальцы иметь. Четвертинки формы убирает, что тот сапер взрыватель из плавучей мины — так тихо и осторожно. И вот очередная тумба, как красивый торт, стоит на солнце, ни отколов, ни раковин не видно. Чистая работа. Теперь наше дело — опять же по команде Христо — несколько раз полить тумбу из лейки водой.

В первый день, когда только вылезли из кузова ”полуторки”, которая подбросила нас до пионерлагеря в Кабардинке, Христо сказал:

— В нашем деле ничего хитрого нэт. Надо выполнять только четыре правила. Первое – цемент иметь вищей марка; второе – песок мельки-мельки, сеянный; третье – правильнй пропорция первый со второй, а все вместе с водой; четвертое – крэпка трамбовать, после будет хороши результат.

А потом перестали болеть плечи и спина, зажили ссадины на ладонях, а роскошные выбеленные вазы в виде распустившихся тюльпанов выросли у спортплощадки, у столовой, вдоль главной линейки. После были восхищенные и полные почтения глаза у тех пионеров, пионерок и даже вожатых, которые часто стояли около нас, хотя Христо слегка ворчал на них, чтобы не мешали работать. Впрочем, это он так, для порядка ворчал, не злился. На самом деле его, как и нас с Юркой, даже вдохновляли эти зрители. Он, когда они рядом крутились, не лежал, укрываясь кепочкой, а все топтался около раствора и говорил, чтобы не опрокинули корыто, хвастаясь перед "нивэстами". "Нивэсты" в красных галстуках робко хихикали. . .

* * * * *

В те два-три часа, когда жара гонит с пляжа всех, кроме разве ненормальных и пьяных, многие находят лучшим место у бочки с холодным пивом. Тут всегда немало найдется отдыхающих мужиков, которые, может, и не заливаются ежедневно марочным коньяком, но выпить да закусить могут себе позволить. На эту публику и рассчитывает Христо, когда организует среди лета "цирк" около бочки, то есть, номер делается для приезжей публики.

Вы же сами знаете, до чего же у нас на море любят разыграть нездешнего человека. Только чтоб посмеяться – ради такого идут очень далеко, используя вечную нашу тягу интересно жить. Секрет розыгрыша под названием "цирк" состоит в том, что приезжий народ не знает про то, что Христо под настроение может вмиг опорожнить ведро пива. При этом деле около Христо всегда есть два-три ассистента из наших "бичей", которые все разыгрывают, как по нотам.

— Так говоришь, двадцать кружек пьешь за двадцать минут, не бегая ни разу, чтобы отлить? — громко орет один "ассистент".

— Жаль, денег нема, а то б глянул народ, какой ты на деле, а трепаться мы все мастера, — гнет дальше другой.

— Мужики, слышь, мужики, давайте скинемся да вкладчину накажем пузатого, чтоб не лепил косога.

И уже идет один из "ассистентов" по кругу, держа в руке белый чепчик, куда, толком даже не разобравшись, в чем суть спора, мужики кидают кто рубль, а кто и трояк. тут уже уточняются детали, самые глухие да косые усекают, сейчас вон тот круглый мужик будет за двадцать минут пить двадцать кружек, при этом с одноразовым отвалом на малую нужду. Если выполнит условия спора, то впридачу к бесплатному пиву поимеет премию в размере оставшегося в чепчике сбора, а как не выполнит – шиш ему да и пиво придется оплатить.

— Та хоть двадцать одну, шо тут пить, — нахально бросает Христо, чем окончательно заводит отдыхающую публику. Тут как раз заканчивается подготовительный период и начинается сам "цирк".

По просьбе Христо народ расступается, обеспечивая ему воздушное пространство. Все стоят тихо, чтобы не отвлекать того от трудных усилий для такого редкого номера. Христо стоит над тремя полными кружками, держит в левой руке кусочек сухой таранки и ждет команду.

— Начали, — радостно кричит выбранный от народа судья с часами в руках, а Христо начинает не спеша жевать рыбу. Народ, конечно, страшно удивляется, потому как ждал, что тот схватится как оголтелый, за свои кружки. Не-а, не тот человек Христо, чтоб не пустить по случаю форсу. Он лениво жует рыбу, хотя некоторые уже глядят на часы, где идет вторая минута "цирка". Тут, конечно, происходит негромкий ропот, откуда можно понять, что кое-кто из слабонервных держит наших за фраеров и все это, по-ихнему, туфта. И тогда Христо, опять же не спеша, берет кружку и мигом опрокидывает, всасывая пиво как насос: только прошумело оно где-то в глотке, только пена осталась на дне. Таким манером - три кружки – три всасывания – менее чем за минуту, и опять неспешное разжевывание маленького кусочка рыбы. Картинка с тремя громко опустошаемыми кружками повторяется трижды.

Публика, конечно, теперь уже в большом восторге, потому как раньше такого не видела, чтобы так быстро можно было опустошить кружки, даже если они с нашим новороссийским пивом. Христо пока не проявляет суеты, хотя стал совсем красный и блестит, что тот надувной шар. Даже воздух над ним курится да плавает, то, наверное, так сильно пиво испаряется из него. После двенадцатой кружки он, как бы от нетерпения, начал переступать с ноги на ногу, а после пятнадцатой очень прытко убежал в ближайшую кабинку-раздевалку. Через пару минут с посветлевшим лицом он опять жует рыбку и все до конца продолжается, как по накатанному.

Когда же уходит последняя кружка, Христо под восхищенный шум просит поверх договора налить еще двадцать первую, которую пьет нормально, по-человечески и уходит со своими "ассистентами" до той шаш-

лычной, что висит над самой водой за портом. Там они берут шашлыки к водке, а гуляет всякий, кого приглашает Христо до стола по случаю очередного "цирка".

* * * * *

Христо никогда не болел и совсем с врачами не знался, хотя имел одышку. Как-то наступил на ржавый гвоздь, думал отлежаться с пораненной ногой дома. Не отлежался. Сердце не выдержало скоротечного заражения, и Христо не стало. А Тасико еще долго мельтешил по пивным, но больше не скандалил, после своей кружки тихо плакал и спрашивал у окружающих: "Ти знал Христо-борец? Брата моего? Что? Не знаешь такого?" Кто помоложе, гнали его от себя, другие советовали идти домой, подталкивали в спину. Потом незаметно как-то умер и Тасико.

Остатки колоннад, полуразрушенные ротонды, вазы еще можно увидеть в курортной зоне, но кто и когда их поставил, про то уже никто не знает и знать не хочет, не считая трех - четырех стариков, что в теплое время любят посидеть да посудачить на той лавочке, которая на углу Горького и Островского, рядом с базаром.

1.2 Аристика

Вы спрашиваете, что такое Адербиевка? Да то ж село, что за нашими горами на речке Адербе. Так вот, адербиевских греков в наше время легко отличали от городских. Те ребята были низкорослые, но крепкие в плечах, кривоногие та носатые больше нормы. И все почему-то были кучерявые. Там у них было только четыре класса, а потом они все обычно пристраивались на какую-нибудь физическую работу – ну там в каменщики шли, в грузчики, в рыбаки. Трудяги, как один, хотя и с гор спустились. То из-за них такая поговорка образовалась. Если кто не знал общеизвестных вещей, про которые в городе ну просто неприлично было не знать, тому говорили: "Ты что, с Адербиевки? С гор спустился?"

Так вот, Аристика как раз был оттуда, вырос около старой бабки Марики, другую же ближайшую родню даже не помнил – кто умер, кого в Сибирь выслали в тридцать седьмом ни за хрен собачий. В городе они обосновались вдвоем в какой-то хибаре, куда третьему не войти из-за тесной невозможности. Поэтому Аристика приходил до бабки только на ночевку, съедал свою тарелку фасолевого супа и спал как слон. А все остальное время был он палубным матросом на малом сейнере "Топорок",

таскал кошель то с хамсой, то с барабулей, а то и с кефалью, штопал сети, драил палубу, колол дрова да мыл котлы для кока.

В летний сезон, когда рыба не идет, неженатые рыбаки к вечеру гладили клеша и светлых оттенков бобочки и шли ватагой туда, откуда доносился духовой оркестр и были танцы. Туда стекалась тогда вся молодежь, которая еще не понимала, зачем нужно просто так часами сидеть на лавочке или стоять где-то посреди тротуара, мешая добираться отдыхающим до пляжа. Она тогда шла косяками на танцы, причем не гладела на москвичек, а активно кадрила их, покоряя не только своим черным загаром, а и умением классно танцевать танго с фокстротом, а также "молдаванеску" и "па-де-грасс".

В те вечера вахтенным на судне обычно оставался Аристика, который не пил, не курил и совершенно не умел танцевать. Он вообще туда стеснялся ходить, потому что плохо говорил по-русски по причине низкого образования и других неудачных причин в его греческой семье в лице бабки Марики, которая вообще не знала по-русски. Он был малоразговорчивый, на людях вел себя почти как немой и в свои двадцать лет, имея широкую грудь и кудрявую голову, ни разу не то что не дотрагивался до какой-нибудь девушки, но даже боялся смотреть на них. Из-за такой робости с ним вышла печальная история, про которую знали не только все рыбаки, но, считай, весь город.

На "Топорке" плавали и другие молодые ребята, которые были в женских вопросах большими шустряками и потому держали Аристику за неполноценного рыбака второго сорта. Митя Кирикиди, тоже матрос, так тот однажды побожился, что сумеет не только привести Аристику на танцы, но и познакомит с шикарной блондинкой. Тогда блондинок было очень много и, представьте, поголовно все были натуральные. Митя среди них вообще был за своего, потому как при знакомстве придурялся отдыхающим, говорил "ми из МГУ", имея ввиду санаторий университета. Орлиный нос, ниточкой усы и особый блеск глаз, конечно, выдавали в нем местного, но такая безобидная ложь не уменьшала обожания к этому красавцу со стороны многих москвичек, не говоря уже о жительницах какой-нибудь Вологды.

Он таки чуть не силком притащил Аристику на танцы в пансионат "Кавказ". Это там, за маяком, где рядом к морю весь в кустах овраг выходит, он "щелка" по-нашему называется. Аристика сразу спрятался за абрикосами, что росли вокруг танцплощадки и выглядывал из-за веток, что негр из джунглей. Народ, который знал про то, что одичалый Аристика наконец на людях и сейчас будет происходить его знакомство впервые в жизни с женским полом русского происхождения, просто сгорал от любопытства: как же тот полунемой, хоть и интересный, парень

будет кадриться? Что он скажет девушке, если слов подходящих, считай, совсем не знает?

— Галочка, поверь слову моряка, скромнее парня нету не только на этой танцплощадке, но и по всему побережью, включая Адербиевку. Ты с ним посмелее, он до того стеснительный, что танцевать до сих пор не научился, хотя совсем взрослый мужчина. Он сказать что-нибудь боится, молчун наш кучерявый, ты уж расшевели его, на дамский пригласи. Как пришли, сразу кинул на тебя глаз, усек твою точеную фигурку. Видишь, уперся в тебя со своей засады? Галка, классный парень, не теряйся.

Это Кирикиди лапшу вешал таким манером. Другие ребята в тот момент обступили Аристику и травили ему про то, чтобы он не терялся насчет блондинки, которая сходу втрескалась в него, как он появился, и уже час пытается, что это за парень тот с шевелюрой, который выглядит из-за абрикоса.

— Не будь лопухом, — говорили те ребята. — Сходу бери на бордаж, то есть веди в шелку и полный вперед.

Таким образом подталкивая жениха да невесту друг до друга, веселые эти ребята вскорости уже видели, как во время дамского танца, а то был, кажется, фокстрот, Аристика топтался с беспомощным лицом около своей партнерши, а та смеялась и, похоже, говорила ему, чтобы не тусевался из-за того, что на ноги ей без конца наступает. Всем, конечно, нестерпимо хотелось услышать, осмелится что-либо сказать Аристика, несмотря на то, что оркестр гудит дай боже и народ шуршит подошвами об цемент.

Но тут дамский кончился, а наша парочка вместо того, чтобы подойти к своим ребятам, неожиданно протолкалась на волю и пошла по темной дорожке в сторону моря. Кирикиди, как главный организатор эксперимента, не смог больше терпеть возникшей неизвестности и вместе с кем-то таким же любознательным стал продвигаться туда же. Возле обрыва на виду у бухты с лунной дорожкой те сидели на лавочке, не зная про шпионов, что притаились в густой траве. Промеж них и произошел тот знаменательный разговор, правда, совсем короткий:

Галка:

— А вас как звать?

Аристика молчит.

Галка:

— А сколько вам лет?

Аристика молчит, но громко и часто дышит.

Галка:

— А кем вы работаете?

Аристика:

— Аристика. . . Мне стыдно. . . Слюшай, пойдём на щёлка селоваться?!

В траве возле лавочки, можете представить, какой смех был после тех слов? С того смеха наша малознакомая парочка в один момент улетучилась в разные стороны.

После того Аристика больше не делал ни одного шага в сторону Северной стороны, то есть в курортную зону, а Кирикиди в упор не видел. В тихую погоду, когда музыка над водой доносится совершенно чистым звуком, он сидел на палубе с шилом в руке над паршивыми сетями, то ли чинил их, то ли делал вид, что чинит. Когда танцы на берегу кончались, он спускался в кубрик и спал до утра. После того, как единственная его бабка умерла, вообще редко ходил на берег, разве когда кок гонял на базар за луком или ещё за чем. А когда он шел мимо ресторана "Крыша", возле которого всегда ошивался всяческий околопортовый народ, оттуда кто-нибудь обязательно громко орал: "Аристика. . . мне стыдно. . . пойдём на щёлка целоваться. . ." и все другие дружно ржали.

Эта однообразная сценка, скажу вам, повторялась не один десяток лет. Бывало, идет до порта Аристика, хотя и кучерявый все, да совсем седой, а из пацанов, тех, что и родились уже после той истории, орет кто-нибудь, мол, пойдём на щёлка целоваться. А тот, между прочим, всегда проходил молча, голову не повернет, с выдержкой был мужик.

А в шестьдесят девятом году был тот страшный шторм, что загнал наши сейнера с уловом аж в Потю. Синоптики сказали, что десятибалльный шторм продлится еще три дня и чтобы рыбаки сидели себе на берегу да попивали чачу, что все так и делали с удовольствием. Кирикиди же, который в то время вырос из простого матроса до капитана "Топорка", на другое утро не захотел ждать, когда жирная хамса протухнет, и решил прорваться до дому, поскольку ему показалось, что шторм стихает. То ему так показалось, и сейнер до дому не дошел, потом даже щепки или какого-то опознавательного предмета не могли найти, сколько ни искали.

С того трагического случая у самого входа в нашу бухту на круче поставил рыбколхоз "Парижская коммуна" памятник всему экипажу "Топорка" в количестве тринадцати человек, на котором все пофамильно упомянуты золотыми буквами как жертвы слепой стихии и труженики моря. Рядом с "Дмитрий Кирикиди" написано "Аристотель Олевра". Я так думаю, что на том свете Аристотель простил Мите обидную шутку, а тот наверняка не дает его в обиду как крайне трудолюбивого матроса, что и делал, когда был капитаном. У того памятника круглый год цветы. Кто и кому их приносит, неизвестно. Наверное, всем, а значит, и безродному Аристике.

1.3 **Лия - директор хлебозавода**

— Тю, Лазарь! — кричал один на улице.

— Сам ты Лазарь, — отвечал другой. И всем было понятно, об чем шла речь: один пацан другому просто хотел сказать, что он дурак, а тот отвечал соответственно, потому как Лазарем, то есть дураком, кому охота быть. Это потом пошли косяком разнообразные эпитеты, смысл которых был один — ”чокнутый”, ”февраль”, ”сдвинутый по фазе”, ”с приветом”. А мы тогда говорили одно слово ”Лазарь” и все было ясно.

Лазарь Илиади был сыном пастуха Анастаса, который до войны всей семьей гонял по горам порядочное стадо коз и баранов. Только один из троих сыновей из-за неудачного от рождения умственного состояния не пригоден был ни к какой деятельности. Предоставленный сам себе, Лазарь целыми днями в любую погоду бегал по улицам в единственной одежде — рубашке до колен, хотя ему лет двадцать уже было. Имелась у него такая страсть — лошади, бегал он за ними с хворостиной в руках, что-то мычал им ласковое до тех пор пока конь не ударил его копытом, но тот вскоре очухался и опять забегал. Некоторые пацаны из-за природной своей жестокости не жалели Лазаря, устраивали ему некрасивые штуки с задиранием единственной рубахи и другие пакости, про которые даже вспоминать неохота. А ведь тот Лазарь был совершенно безвредный, беззащитный, как малое дитя, у него даже головка была малая да круглая, что у пятилетнего, хотя сам был рослым парнем. Он таки добежался беспризорно, в первую же сильную бомбежку осколок от фугасной бомбы попал именно в его голову, хотя на улице было полно народу с куда более крупными головами. Так и не стало Лазаря, хотя еще долго после войны многие называли друг друга Лазарем в конфликтной ситуации, особенно пацаны.

В войну появился еще Миша Черноморский Моряк, но тот стал не в порядке после тяжелой контузии и ранения на Малой земле, куда выбрасывался он с морской пехотой. Списали его тогда подчистую, и стал он ходить от калитки к калитке, просить покушать у голодных своих земляков. Был он в черном бушлате на голое тело, двигался весь перекошенный и с трудом, но с постоянной широкой улыбкой на лице. Контузия ему такую память оставила на всю жизнь, будто он все время смеялся. Говорил он плохо, но одну фразу все различали: ”Миша — не дурак, черноморский моряк, восемь лет не ел, дайте кусочек хлеба...” И многие люди, сами пухлые с голоду, делились с ним крохами. Позже Миша кем-то был устроен, и хотя мучительная походка и страшная улыбка оставались при нем, вид имел ухоженный. Говорили, что мать его отдавала ему внимание из последних сил. А дурные пацаны Мишу не дразнили и

относились уважительно как к десантнику на Малую землю.

А вот Лия был совершенно бездомный и никто даже не знал, откуда он появился в городе. Был разговор, что пришел он с Эриванской станции через горы, спасаясь от голода. Хотя это очень странно, поскольку кукурузу баночками продавали на базаре кубанские куркули, а у нас в те годы хоть шаром покати было с едой, только на хамсе и спасались. Был Лия небольшого роста, но крепкий и даже румяный, хотя часто голодал. Левая нога была у него колесом, но ходил таки скоро. Целыми днями, бывало, ходит по городу, ищет, кому там огород вскопать или дров напилить-наколоть или еще чего сделать по хозяйству. Кривая нога не мешала ему делать разнообразную тяжелую работу. Бывало, какой-нибудь вдове целый день долбает киркой яму под уборную, а к вечеру получит тарелку кукурузного супу, вмиг съест, оближет тарелку и сидит, улыбается. А то за кусок хлеба один двуручной пилой распилит воз граба, поколет дрова и аккуратнo сложит. Потом тщательно соберет в отдельную кучу щепки, подметет двор и сядет на землю отдохнуть да пожевать заработанного хлеба. В феврале-марте был сытый, в это время копал он огороды, что трактор, по четыре – шесть соток, и все бабы наперебой звали его во дворы. Только ночевать не приглашали, и шел он до моря и ночевал на мягкой морской траве.

В сильно холодной время прятался в каких-то тряпках по разбитым домам. Но оттуда почему-то гоняла его милиция, хотя дураку ясно – не от хорошей жизни человек ночует по развалинам среди засохших куч. На такой случай была у него запасная неприступная позиция в горах в виде каменной берлоги. Берлога та была оборудована из крупных камней в таком месте, что увидеть ее можно было только с одной точки с противоположного склона глубокой щели. Добраться туда можно было только по крутой щебенистой осыпи, хватаясь руками за колючку, которая черт ее где растет. Там он пропадал неделями, а кушал, что можно было найти в лесу – дичку, шиповник, желуди.

Какое-то время прибился он до райпромкомбината. Заприметил его замдиректора по хозяйственной части Женя Сурков, первейший алкаш еще с тех пор. Он, значит, усек то, что Лия безответный человек, и понарошку оформил его дворником, ставку ему определил. Лия чего только не делал у них на дворе: и дрова пилил-колол, и подметал-убирал, и машины мыл, и воду таскал кому попало. Сурков же раз в месяц давал ему зарплату в виде десяти рублей, причем обязательно рублями, иначе Лия ворчал, что мало денег. Остальные деньги за штатную единицу тот сволочной Женя брал себе дополнительно для пропивания. Только однажды в пивной его же подчиненные шофера набили ему морду за такое шкурничество, после чего Лию рассчитали с дворника.

Наконец его приютили при хлебозаводе. Один шофер взял бедолагу и привез к тыльным воротам, где грузились хлебом. Шофера да экспедиторы для начала накормили его, а потом кто-то предложил поставить Лию у ворот, чтобы тот открывал да закрывал ворота, чтобы, значит, не делать то самим шоферам. С тем предложением обратились к директору и тот определил Лию у тыльных ворот вахтером, не оформляя по штату. С того момента Лия неотлучно находился у тыльных ворот, а еще выполнял все, что говорили делать на дворе. Больше всего любил побрызгать водой и подметать, даже тротуар перед воротами убирал.

Платили ему хлебозаводские черным хлебом, из бракованного да подгоревшего чаще всего. Такая шикарная жизнь настала для Лии, что не поедал даже все и ходил с оттопыренными карманами, куда откладывал про запас. Пацанва про то пронюхала и стала отираться на улице под воротами. Лия, когда никого не было, выходил ненадолго за ворота и раздавал те черствые куски пацанам. Пацаны ели куски, а Лия чувствовал себя как бы благодетелем, слегка распускал хвост и даже начинал философствовать.

— Лия, кем ты здесь работаешь? — хитрили пацаны, уже зная ответ.
- Директором хлебозавод, - быстро отвечал тот.

— А директор, между прочим, кушает белый хлеб, а у тебя черный.

— Ленин был великий человек, а кушил толка черный хлеб. Бели хлеб кушил этот проклятый буржуй. Ленин не буржуй, он кушил черный хлеб. Лия тоже кушит черный хлеб.

Пацаны стали звать его Ленин, что было для него просто счастьем, надо было видеть тогда его лицо. На первомайские и ноябрьские демонстрации Лия всегда пролезал под балкон, с которого произносились призывы до демонстрации, что проходила мимо. Идет это, значит, колонна школы № 1 имени Кирова, кто-то увидит Лию и кричит "Ленин, Ленин!" А Лия сделает серьезное лицо, нахмурит брови, быстро сорвет с лысой головы грязную кепку и вытянет вперед руку с кепкой, точь в точь как Ленин в кино. Школа № 1 в ответ восторженно ревет и кричит "ура". Отцы города, что стояли на балконе горкома, почему-то не прогоняли Лию, и тот от лица Ленина не один год приветствовал народные массы. Можно было предположить, что они терпели его из-за того громкого да дружного "ура". Они прямо под то "ура" всегда успевали дать главный гвоздь своей программы — "под знаменем Ленина, под водительством Сталина..." ну и так далее, и это каждый раз приятно удивляло представителя краевого центра. Он, конечно, не мог знать того, что посылается то необычайно громкое "ура" не вождям мирового пролетариата, а хромоногую оборванцу, что стоит внизу с вытянутой, как у Ленина, рукой.

И каждый раз после демонстрации пацаны в красных галстуках окружали радостного Лию и для порядка спрашивали, кем он работает. Тот отвечал, что директором хлебозавода, и начинал доставать из карманов куски черного хлеба...

1.4 Бдительность

Хотя телевизора тогда и не было, одно радио в черном репродукторе, однако жили намного веселее, чем теперь. Вот была тогда с нашей стороны страшная борьба за мир, а с той стороны только и делали, что разжигали мировой пожар. Народ поголовно весь подписывался за мир против поджигателей войны. А мы, те, кто живет на морской границе, не только подписывались, а и ловили наймитов империализма. И чего же тут веселого, вы скажете? Но вот слушайте сюда.

Эти гады взяли да повадились пробираться к нам через море с Турции. Значит, крадется до нейтральных вод ихняя подводная лодка, потом с нее спускают надувную лодку с одним, а то и с двумя шпионами - и вперед сквозь кромешную тьму до священных советских берегов. Они, значит, затопят лодку и другие громоздкие вещи, а потом по ущельям ползут в сторону гор с целью перейти их до бескрайних кубанских просторов, а там - до Москвы, до Кремля. Но не тут-то было. Народ из-за напряженной обстановки до такой степени стал бдительный, что быстро усекал вражеские поползновения, о чем бегом докладывал кому следует.

Один совсем старенький дед все козу гонял по берегу рано утром, а заодно высматривал сверху дары моря - ну, там доску какую прибьет, что другое, которое пригодится в хозяйстве. Вот так однажды высматривал, а у самого берега торчит из воды что-то зеленое. Пощупал дед - вроде, резина, но шипит. Он трусцой до пограничников и сообщает о подозрительном предмете. Оказалось, что то надувная лодка импортного производства, а шипела оттого, что воздух не весь еще вышел. Тут, конечно, зеленые фуражки догадались, что шпион далеко не ушел, и кинулись по следам, которые взяла овчарка. И точно, не успел гад до Кубани добраться, в горах его и взяли. А смышленного того дедулю, говорят, аж в Москву возили, где сам Ворошилов вручил ему золотые часы с гравировкой за бдительность.

То ли часы так подействовали, то ли еще почему-то, но бдительность стала достигать величайших размеров. Пограничные патрули шастали по всему побережью, кто после жаркого дня не успевал остыть и хотел освежиться в ночном купании, того выгоняли на берег грозным голосом, мол, пограничная зона и все такое. Смешно, конечно, особенно если перед тобой такая толстая старуха, что даже по горло боится зайти в воду, а

не то, чтобы уплыть своим ходом до Турции. А "секреты" так в каждом кусту, только какая парочка залезет туда приземлиться, а оттуда "стой, кто идет". Никакой жизни не стало, одна шпиономания.

У нас на почте ходил начальником майор Брагин из бывших энкаведешников, так тот с утра глаза зальет и шасть на базар искать шпионов. Это, говорили, была у него такая мания, особенно когда примет полбанки. Выходит он как-то уже на ухах из павильона, а у самого входа сидит на корточках одноглазый Кочо, ну тот старый рыбак, которого все в порту звали Билли Бонс. Он, как тот пират из кино "Остров Сокровищ", носил вместо одного глаза черную повязку, а еще имел редкий по своим размерам даже для пиндоса рубильник, короче, имел такую внешность, при которой под мостом с ним встретиться не дай боже. О чем говорить, впечатляющую внешность имел товарищ. Сидит Кочо после стакана портвейна №15, дремлет себе, никому не мешает, а Брагин берет его за грудки и требует паспорт. Кочо как неграмотный грек старшего поколения ни бельмеса не понимает, гнет только свое пос, пос, значит, что, что, а майор пуще звереет, вцепился в того, зовет народ на помощь для обезвреживания иностранца, что прикидывается пьяным. Еле отбили бичи Кочо от Брагина, а тот рванул тогда скорым ходом до почты и давай названивать всему главному начальству города.

— Это квартира первого секретаря горкома? — спрашивает.

— Да, — отвечают женским голосом, — но сегодня выходной день и его нет дома.

— Квартира председателя горсовета? — опять спрашивает. — Нет дома? Отдыхает? Так, пойдем до конца, — и опять набирает.

— Квартира начальника милиции? Что? Нету? Да что это творится такое... Город... кишит шпионами, а они отдыхают. Что же, уже нет тут советской власти?! Один Брагин остался?!

Надо добавить, что подчиненные ему телефонистки подробно изучили пьяный голос начальника и при таких алкогольных приступах бдительности разговаривали с того конца, отводили тем самым удар от того помешанного. Правда, его потом все ж поперли за такие номера.

А Кочо из-за своей подозрительной внешности вскоре попал в такую историю, что хоть плачь, хоть смейся. У Толстого мыса в самых воротах бухты на мелкой банке ставила сети сухопутная бригада. Туда насобирали стариков, а еще тех, кому на сейнере слабо или кому подавай работу не бей лежачего. Был среди них и Кочо. Они поставят сети и сидят на круче у костра, уху варят да травят баланду. К утру идут баркасом забирать рыбу. Был там еще Загинайко, небывалый сачок и трепач, которому дай условия — разыграет самого Хазанова. Благодаря ему и ночь веселее коротали.

Вот сидят они, костерок освещает их красные морды, а кругом мрак южной ночи, особенно внизу, под обрывом. Спать охота всем. Кто глаза прикрыл уже, а Кочо захотел до ветру, для чего отлучился по крутой дорожке вниз. В это время патруль в количестве одного молодого солдата вышел из темноты и приблизился до костра. Стриженный солдат, шейка тонкая, одним словом – салага. Загинайко мигнул другим и безо всякого предисловия громким таким шепотом говорит:

— Этого Ахмета как первого контрабандиста на всем Черном море знают все пограничники в лицо, им фото раздали, мне один показывал. Одноглазый тот Ахмет, черная повязка на глазу, нос крючком здоровенный при нем, а худущий. . . А еще из примет – в рванье ходит, но то маскировка, бедным прикидывается, сам же на контрабанде табаком миллионы нажил. Пограничники бегают с карточкой в кармане, а никак не поймают. Хитрый, зараза, он тут где-то возле круч, говорят, и высаживается. . .

В тот момент снизу послышалось шуршание, Кочо лез от воды наверх. Загинайко вытаращился в темноту, все остальные тоже. И солдат тоже вытянул тонкую шейку. Тут над обрывом и появляется одноглазая голова.

— Ребята, убей меня, — Ахмет, — громко зашипел Загинайко.

— Стой, руки вверх! — закричал солдат и автомат вскинул наизготовку, а Кочо знай лезет да бухтит что-то себе по-гречески. Солдат, конечно, думает, что тот говорит по-турецки, и становится аж белый от волнения. Тут Загинайко и все остальные наперегонки уговаривают того, чтобы не арестовывал Кочо, что это был с их стороны обыкновенный розыгрыш, то есть шутка. Какой там, "назад" орет да "молчать", совсем расвирепел пограничник от большой дозы бдительности, которая закипела в нем. Тут же закрутил руки бедному Кочо за спиной тем куском сетки, что тот использовал вместо брючного ремня и усадил со спущенными штанами в сторонке на землю. По телефону вызвал наряд, пришла вскорости машина и забрала одноглазого, несмотря на такое недоразумение.

Целую ночь просидел Кочо под видом контрабандиста или шпиона на заставе в одиночной камере. Уже днем разобрались, что он тоже советский человек, хотя и с подозрительной внешностью. А солдату тому ничего не было, даже похвалили за бдительность.

1.5 Прометей

Если где попадется непьющий рыбак, то покажите мне его, я буду страшно удивляться. Может, где в других местах такие водятся, но у нас на море он бы не прижился, как инопланетянин. Поэтому в порту пьют и

пьющие и непьющие, то есть те, кто от природы предназначен только для употребления ситро, которое теперь называют "фанта".

Вот и Ефим Процело должен был пить ситро, но раз он был рыбак, то пил что покрепче. Ни больше, ни меньше, чем другие, но вертикаль после держал слабо, а тут еще его женская особа вела беспощадную конфронтацию против пьяного возвращения домой. Приходит человек еле-еле до дому, а жена поднимает хай да гонит за порог, пошел вон, говорит, черт воючий, глаза б тебя не видели. А тот, вместо того, чтобы как-то утихомирить бабу, начинает канючить – жизнь, говорит, ты мне совсем подшила, вот пойду и утопну, чтобы не слышать твоих оскорблений.

— Иди, бичуга, топись, хоть тогда отдохну от тебя, — кричит она. Часто Ефим после такой драмы убежал за калитку в сторону моря. Посидит тихо у воды, очухается немного от бесподобных запахов да и вернется до дому. Уляжется где в закутке на полу, потому как баба не допускала его до постели в таком виде.

Повторялась такая картина множество раз и Ефим совсем дошел до ручки от накопившейся тоски. Только в какой-то вечер пообещал ей в очередной раз утопнуть, побежал к морю да и не вернулся до утра. Тут его баба наконец заметала икру, забегала по причалам, не видали, говорит, моего Ефимушку. А никто его и не мог видеть, он тогда уже висел на скале, как раз под маяком.

Получилась же такая невероятная история. Он как рванул с ночи в сторону моря без остановки, так и дошел с переменной скоростью и вместо того, чтобы как всегда сесть и пригорюниться на камушке, прыгнул в чем было да поплыл хорошим брассом, хотя и под газом еще был сильно. Ничего не скажешь, мореман со стажем. Плывет это он вглубь бухты и сам с собой, надо понимать, рассуждает: "Сейчас дойду до глубины и утопну к чертовой матери". С таким пессимистическим настроением уплыл метров на двести и стал добровольно тонуть. Он, значит, наберет воздуху да нырнет, а как уже там невтерпеж становится – выныривает на поверхность: это инстинкт жизни не дает ему утонуть. "Ладно, — опять думает Ефим, — уплыву подальше, легче будет утопнуть". С брасса переходит на кроль, чувствует – выбивается из сил. Стал опять пробовать. Нет, не тонется. "Врешь, зараза, все равно утопнешь," — закричал Ефим сам себе и давай нырять на большую глубину, однако все выскакивает наверх, как пробка с "Игростога".

Доплыл безрезультатно аж до середины бухты, видит – как раз зеленый огонь маяка. Тут и пришла ему та идея, из-за которой взял он курс до берега. Не спеша доплыл до скалы, что под маяком, вылез и стал искать каменюку потяжелее. Достал подходящую тяжесть и думает, чем бы привязать до шеи, чтобы тогда уж бултыхнуться вниз, и никакой ин-

стинкт не помешает задуманной операции. Делать нечего, снял ремешок от брюк, заодно сбросил трусы, остался совсем голым. Повесил булыгу спереди, забрался на выступ, еле стоит, а не прыгает. Подумалось ему, что пока будет лететь вниз, каменюка побьет ему все спереди. Взял да и забросил груз через голову назад, а потом, наконец, прыгнул. А прыжка, между прочим, не вышло, потому что камень зацепился выше в скале, а Ефим повис во всей красе над Черным морем. Собственный ремешок сдавил ему горло под подбородком и не было никаких сил у бедняги освободиться от той удавки. Он, конечно, поерзал и приспособился, так что дышать мог, но чтоб повернуться – никак.

Таким неподвижным образом простоял Ефим долго. Одни говорят, что сняли его на другой день, другие – что аж на третий. Я думаю, что это живое распятие красовалось видом на море порядочно, потому когда снимали его, весь спереди был красный от солнца, а спина вся белая. Он и кричал полузадушенным голосом, да место глухое, к тому же под скалой. Пограничник на Толстом мысу ради интереса рассматривал город в бинокль, видит, человек на скале, к тому же голый, а что делает – неизвестно. Поскольку это была уже не линия границы, то сообщили в ОСВОД, может быть, это по их спасательной части. Пришел ихний глассер, смотрят, на скале над ними обгорелый голый человек и голова набок, как у мертвого. Добрались до него, освободили от удавки да увезли в больницу. Там привели его в чувство, но оставили на недельку, потому что, говорят, обезвоженный был и кожа спереди слазить начала лоскутьями. Ясно, что с нашим солнцем шутить нельзя.

Жена при нем сидела днем и ночью, выхаживала, кормила с ложечки, рыбаки тоже приходили проведать. А когда вернулся Ефим опять на судно, с ним произошло интересное изменение. Он стал совершенно непьющим, а еще все его стали звать Прометей. То был такой древний герой, который тоже долго висел на скале, только тот не сам завис, а какие-то сволочи постарались. Вскоре Ефим не выдержал своей популярности и вместе с женой переехал в Новороссийск. Говорят, что там он тоже не пил.

1.6 **Колючий**

У нас полугреков называли суржиками. Что это такое – не знаю, но Колючий как раз был суржик. Он, как и его погибший в войну батька, с шестнадцати лет уже рыбачил. Тогда голодуха была страшная, на рыбе только и спасались. Таскали ту спасительницу с рыбколхоза, кто как мог.

Как-то в туманную ночь поручили Колючему потихоньку отвести от

сейнера баркас с кефалью в назначенное место, что тот и сделал. Только на берегу поджидали его менты. Так он загремел в первый раз в холодные края. Представьте, не назвал никого, всю вину на себя взял, хотя дураку ясно – один пацан не провернул бы операцию с полным баркасом рыбы.

Когда отсидел он свои три года и вернулся в наши теплые края, то оказался весь в шикарных наколках, от головы до пяток. Чего только на нем не было, не буду рассказывать за якоря и красоток, это малоинтересно, зато на заднице была во всю ширину морда клоуна, который, когда Митя шел, открывал и закрывал рот.

Да, я не говорил про то, почему он стал называться "Колючий". Нет, характером не был крутой или жестокий, наоборот, обаятельный, с фантазией был парень. Кличка же такая пристала к нему из-за его прекрасных горячих глаз. Не удивляйтесь, что такие комплименты женского пола. Но он действительно был красавец хоть куда. В школе проходили вы про Печорина, про его глаза с огненным блеском? Так вот, не иначе, как с Мити, который Колючий, списывал тот портрет Михаил Юрьевич. Что же касается до женского пола, так он в массовом количестве не мог устоять против обжигающего митинога взгляда, хотя сам он предпочитал некоторые другие увлечения.

Что было, когда Колючий приходил в здравницы на вечера игр и развлечений, трудно то передать. В таких вечерах, кроме всяких "бегом в мешках" и "бегом со связанными ногами", обязательно были популярные танцы по заказу на приз. Тогда там собирался весь город включая пацанов с семиклассным образованием, да и старики приходили, кто пошустрее. Смех был такой, что если кто собирался в бухте половить рыбу при фонаре - пустое дело, вся рыба утекала до открытого моря. Так вот, когда после "русского", "лезгинки" и других гопаков объявлялась "цыганочка", местные ребята начинали интересоваться, тут ли Колючий, когда видели, что тут, ждали, как он будет бить чечетку под тот танец в двадцать два колена.

Не знаю, кто еще мог бить чечетку в двадцать два колена, а он мог. После отсидки он много чего мог: классно играл на гитаре, пел так, что зарыдаешь под четыреста грамм, и бил чечетку. Тогда те, кто бил чечетку, были наперечет и ходили в королях. Таких и было всего двое – Колючий да Ёника, массовик из санатория "Звездочка", но тот не бил в двадцать два колена.

Короче, когда пойдут под аккордеон первые аккорды "что ты ходишь, что ты бродишь, сербияночка моя" и, как всегда, повыскакивают на площадку две-три толстых бабы и замашут руками, на них многие не обращали внимания, а смотрели на Колючего. А тот для понту выламывал-

ся, всячески показывая публике, что не желает танцевать, его уже даже выталкивали в круг, а он упирался, говорил, что не в форме, а те еще больше просили, а по всей площадке многие из местных авторитетно заявляли знакомым отдыхающим дамам и даже незнакомым о том, что так чечетку, как тот красивый парень, никто не бьет, потому что такой еще не подросток. Тут уже весь окружающий народ смотрел на Колючего, некоторые даже скандировать начали "про-сим, про-сим". Толстые бабы и те переставали махать руками. Любопытство достигало наивысшей точки – всем страшно хотелось увидеть редкого танцора – и в этот момент Колючего наконец выталкивали на середину круга, а может, он делал вид, что вытолкали – фантазер был каких мало.

Про сам танец не буду говорить – то надо самому видеть. Вы, конечно, видели того чудака, что бьет чечетку в кино "Зимний вечер в Гагре"? Скажу так: слабо ему против Колючего, не выиграл бы он приз в виде одеколона "Красная Москва".

И точно, было двадцать два колена, точнее, двадцать одно. А двадцать второе – под занавес – выглядело так: Колючий падал красивейшим образом на колени и крестился. Что тут делалось на площадке – прямо рев разносился на весь курорт. А он плевал на тот восторг, он открывал крышку флакона и протискивался сквозь народ на волю, а попутно поливал одеколоном на голову народу, а тот и не думал отстраняться. Понятно, не каждый вечер случается пахнуть "Красной Москвой", да еще бесплатно.

А то, бывало, сидит он в окружении почитателей его талантов в ресторане "Крыша", гитару держит торчком на столе, потряхивает грифом, и она у него плачет, как гавайская, да еще к тому же своим мягким баритонном жалостливо выводит: "позабыт-позаброшен с молодых-юных лет". За другими столиками подкрепляется, чем придется, отдыхающая публика, слушает, кое-кто, особенно из старшего поколения, уже слезу пускает.

А Колючий пуще старается, кажется, уже плачет. Потом берет последний аккорд и собирается уходить. Растроганные мужички, понятно, просят еще чего в таком же репертуаре сыграть да спеть, а тот им отвечает, мол, на сухую голос садится. Те ему посылают до стола бутылку "Московской", он же дает понять, что не один тут, а с друзьями. Тогда ставят на стол еще три бутылки, и Колючий опять поет про то, что "будь проклята та Колыма".

Вскоре на той "Крыше" весь народ поголовно плачет и обнимается, а вся компания по центру с Колючим идет на другие приключения, на тот же пляж в дом отдыха имени Ломоносова.

Тогда была мода такая – один мостик для женщин, а другой рядом – для мужчин, ну, словом, чтобы отдельно купались да загорали. Щи-

ты деревянные вдоль перил поустанавливали, чтобы, значит, мужики не подглядывали в другую сторону. Ну, женщины, конечно, по такому случаю на своих мостиках загорали в чем мама родила. Народ этот, скажу, удивительно недальновидный, ему в голову не пришло то, что если стать за кустами напротив ихнего мостика – все до мельчайших деталей видать.

Как раз за кустами наша компания и расположилась, а Колючий пошел вниз как бы купаться, а на самом деле отмочить тот эффектный номер, за который, собственно, и хочу рассказать. Разделся это он, значит, на мужском мостике догола, стоит в полный рост спиной к закрытому мостику, делает разминку, поигрывает мускулами, а клоун на заднице тоже мордой шевелит. Женщины в момент прильнули ко всяким щелям, что в досках, и любят на него. Он же подходит к краю, забирается на перила и прыгает красивой ласточкой в сторону моря. Ушел это он под воду и никак не появляется на поверхности.

Тут уже легкая паника начинается на мостках. Им же не известно про то, что Колючий – потомственный моряк. Кто-то уже требует криком позвать спасателя. А ребятам, что на берегу, отлично видать, как наш ныряльщик дал разворот и пришел под мосток женский. Там отдышался немного и спокойно поднялся по лестнице на мосток.

Думаете, те очень обрадовались, что он не утоп? Когда прошло у них удивление от такой наглости, стали шуметь насчет того, что хулиган и нахал и, мол, надо милицию позвать, на что Колючий всем сразу отвечает, что ему не стыдно, потому как на севере глаза подморозило. Сам между тем идет, как охотник через стадо тюленей, да еще и похлопывает по иному заду, что покруглее. Фантазер был. Конечно, он так выступал и работал на ту публику, что громко ржала за кустами.

Но периодически Колючий сидел, а как же, без этого и не могло быть иначе. Беспокойный был человек, к тому же не работал, в карты играл. Он с другими бичами пристрастился играть "на интерес", а тогда за это тоже шили статью. Усядутся в бурьяне за стадионом и режутся в "очко" или в чего другое с утра до вечера. Собиралась все одна компания – Харик Прорва, Петя Гобсек и Колючий. Суровый все народ, пацанву беспощадно от себя гоняли, чтобы не демаскировали. Сидит, бывало, тот же Гобсек, сам мокрый, и на нем целых три пиджака: это значит, он их выиграл, а остальные напротив сидят голые и им прохладно. В другой раз на левой руке у кого-то до локтя часов надето – тоже выигрыш. А Колючий в этом деле не имел таланта, был в долгах и шел на всякие фантазии по добыванию денег.

В первый раз за карты получил он что-то совсем немного и через год с небольшим опять сидел тихо в том бурьяне в трусах и тельняшке – до

того проигрался. Так вот, насчет фантазии. У них главное – долг вернуть в срок и никаких отсрочек. Когда стало его подпирать в этом вопросе, на танцах в "Приморье" стал он охмурять какую-то серенькую курочку, но с золотыми перстнями на лапках да серьгами в ушах. При его данных было это плевое дело, и вскоре полюбила его не только та курочка, но вся женская палата в количестве шести человек. Приходил он туда, как к себе домой, услаждал их своими музыкальными и всеми остальными способностями.

Один раз в душную ночь долго прощался со своею у открытого окна – ну, как Ромео у Джульетты – пел ей вполголоса, а потом еще сидел в одиночестве на ближней лавочке и курил. Потом самым неслышным образом забрался в палату через то самое окно и обчистил всех подружек дотла, даже у некоторых блузки унес, те, что шелковые были. Отнес все барахло на толчок одной бабуся. А курочка с подружками с плачем до милиции, та же в два счета вычислила Колючего. Опять загремел он и уже надолго. Потом, после отсидки, опять на чем-то погорел, и следы его потерялись.

Помню, уже где-то в семидесятом или в семьдесят первом на городском пляже возле "Ракушки" сидела компания молодняка и из середины тихо плакала струнами гитара и кто-то негромко пел. То ли песня показалась мне знакомой, то ли хрипловатый голос, но я подошел туда. Сидел в окружении пацанвы почти лысый да худющий мужичок в черном пиджаке, старался над своей гитарой, а пацанва говорила ему: "Давай, дед, клево поешь, хочешь еще глотнуть портвейну?" Тот поднял голову и взял бутылку, и тогда только понял я, что то был все-таки Колючий – глаза были его. А пацаны, уверен, понятия не имели, кого они поили портвейном.

1 Я это помню

2.1 Когда отец устанет

Может быть, они где-нибудь среди тряпок лежат? Я их хорошо помню: одна – круглая, как большая серебряная монета, с ушком и цепочкой, другая – в виде ромба, тоже как будто из серебра, на ней надписи – "За отличное плавание на 200 метров", а на обороте – "Чемпиону Азово-Черноморского края. 1932 год".

— Нету их давно, забрал кто-то, — виновато отвечает мать.

И в который раз с досадой думаю о том, что не осталось ни вещей отца, ни единого треугольника-письма, ничего, что было еще при нем.

В войну, когда одни спасались от бомбежек в горах, другие мародерствовали, грабили оставленные дома. Вернувшись, мы увидели в доме полный разгром. Даже чугунная плита была выдрана из печи, пух из распотрошенных подушек и перин по колено лежал на полу и шевелился как живой. Ящики комода были перевернуты, исчезли облигации, всякая мелочь, а медали остались незамеченными в грудке бумаг и писем. И вот уже в 50-е годы кто-то из отдыхающих умыкнул таки их.

Можно украсть вещи человека, могут исчезнуть письма, написанные в пути на фронт, крупно и коряво, но память все равно останется. Зыбкая, размытая, вдруг вспыхивает местами ярко и сочно, как яблоко в опавшей листве после дождя.

В бисере капелек белый лоб, блестящие черные кольца волос, незагорелый бугристый торс – все вижу как сейчас, а вот голос не слышу. Не помню. Наверное, потому, что мало он говорил. Стеснялся сильного акцента. А может быть, как большинство сильных и красивых людей, был просто немногословен. И некогда ему было говорить. Он шил. Раньше у нас про сапожников говорили: "он шьет", или "шьет в артели Клары Цеткин". Была до войны сапожная мастерская под таким названием. От мастерской в курортной зоне было несколько "точек". Одно время отец с напарником шил в маленьком павильоне на Северной. Павильон был на территории дома отдыха КРУЗДО, который потом назывался УДОС, после войны – "ВЦСПС-1-2", и, наконец, пансионат "Дружба". Как раз на том месте стоит сейчас гипсовый Айболит без носа и без рук. А тогда был там тенистый парк, в глубине которого белела танцплощадка. Гуляли парочки, к вечеру гремел духовой оркестр, а отец все не разгибался, чинил дамские "лодочки", босоножки и прочие "лосевки". Напарник, дядя Ваня "Зизика" (по-гречески "стрекоза"), когда появлялись клиенты, хватался за газету и брался читать, держа ее вверх тормашками. Если же появлялась симпатичная да молодая клиентка, распускал хвост и пытался назначить свидание. Клиентка обычно отказывала, а Зизика шел до ближайшего ларька выпить стакан вина.

Дело уже к полудню. В мастерской накурено до синевы и больше всех садит Зизика.

— Слушай, Спирка, что ты за человек, сам не пьешь и другим не даешь, — деланно возмущается он, когда появляется с его точки зрения нужный, "тот" клиент. Отец молчит.

— Слушай, ты когда-нибудь видел, чтобы двумя пальцами пятаки гнули? Нет? Так я тоже не видел, пока этот парень тут не появился, — обращается он к приезжему клиенту, указывая кивком на отца. — Только номер этот стоит бутылку "Абрау-Дюрсо", — без паузы добавляет Зизика. — Нет, дорогой, так мне не надо, я люблю выпить на спор. — Спирка, на

пятак, дай выпить за счет этого дурака, - это уже вполголоса по-гречески отцу.

Тот молча берет пятак в черную от дратвы ладонь, как бы собирается протолкнуть его в "дулю" - большим пальцем между указательным и средним - и, крикнув, бросает на стол согнутым в корытце.

— Это ж надо, — клиент разглядывает изуродованный пятак, смотрит с восхищением на отца. А тот шьет.

— Это обмыть надо, — напоминает Зизика.

— Конечно, надо, — с готовностью соглашается клиент. — Спирка, я скоро приду, — говорит Зизика. Иногда действительно приходит.

Отец часто шил по вечерам дома. Под тусклой лампочкой без абажура, посреди комнаты ставил свое сапожное кресло - низкий и широкий табурет, где вместо сиденья - накрест переплетенные в решетку кожаные ремни. Шил больше чувяки, их еще называли "выворотки". Чувяки в то время были всеобщей обувкой в наших местах. Мягкие, легкие, на кожаной подошве и без каблука. Шились прочной дратвой, тщательно провощенной. Иногда он давал мне в руки кусок липкого воску и дратву, всякий раз показывая, как вошить. Пахло остро и привычно кожей и клеем. громко стучали на стене часы с кукушкой. Но были вечера, когда отец лежал на кушетке, держа в руках толстую тяжелую книгу и что-то бормотал вполголоса. Он читал так, почти по складам, вслух. Неудивительно, если знать, что окончив 4-классную греческую церковноприходскую школу, с 13-ти лет уже сел сапожничать. Это был том истории древней Греции. Очень ему, наверное, хотелось заглянуть в седую даль своей прославленной родины, и он упорно пытался читать. Это было трудно, усталый, он быстро засыпал, тяжелый фолиант с грохотом падал на пол.

Однажды он долго рылся в груде сапожных колодок, гремел ими сверх обычного, явно был не в духе. Отшвырнул в угол одну-другую, хлопнул себя по коленкам и сказал: "Не послушал тогда Володю Коккинаки, не поехал учиться, так всю жизнь и буду гнуть спину над колодками". Быстро встал и вышел во двор...

В начале тридцатых годов отец пытался сменить профессию, уехал пытать судьбу в Новороссийск. В порту пристал к бригаде грузчиков-греков. Тон задавали три брата Коккинаки, ребята крепкие, твердые в мышцах. Отцу этих качеств тоже было не занимать, он, как и все, лихо бегал по сходням с двумя мешками цемента под мышками. Та греческая бригада гремела тогда на весь Новороссийск и дальше, фотографии мускулистых чернявых ребят мелькали на досках передовиков, в газетах "Цементник", "Молот". Но тут в стране раздался клич "молодежь - в авиацию", и тысячи горячих молодых голов откликнулись на призыв.

— Мы все трое едем учиться на летчиков. Хватит мешки таскать. Спира, ты как? — спросил Владимир Коккинаки.

— Грамоты у меня не хватает, не возьмут, — отвечал тот.

— Не бойсь. От союза грузчиков дадут такие характеристики, что обязательно возьмут.

Братья Коккинаки стали прославленными летчиками-испытателями, старший, Владимир, получил звание героя, стал генерал-лейтенантом. Три аса пережили войну и ушли из жизни в преклонном возрасте.

Рядовой Красной Армии Спиридон Попандопуло летом 1942 года в возрасте 33-х лет погиб в Харьковском котле.

2.2 Федун, ты помнишь...

Федун, ты помнишь, как я, шестилетка, впервые пошел с вами в горы за дровами? Для тебя это было привычным делом, с тетей Анфисой и Надей вы туда, наверное, каждую неделю ходили. Никогда не забуду потрясения, которое пережил тогда. Я ведь лучше всех среди нас бегал, прыгал в длину, играл в "кута", в "чалдыка", в "ловитки". Вдруг оказалось, мне слабо лазить по крутым каменистым скатам. Страх сорваться вниз парализовал меня. Забравшись вверх метров на двадцать и глянув вниз, я вмиг вцепился в ближайший кустик и долго сидел на корточках, мучительно преодолевая желание разреветься. Вы спокойно и сноровисто таскали сухие ветки вниз, поднимались вверх, вновь были внизу и не замечали моей беды. Раз только тетя Анфиса откуда-то спросила "Митя, ты где?" Я подал голос, вы продолжали свое дело. Потом я все-таки съехал на заднем месте вниз, поранив об острый камень ногу. Но и этого никто не заметил, вы укладывали вязанки дров, стягивали их веревками, стараясь, чтобы одна сторона была поровнее и сучья поменьше давили спину.

— Митя, где твои дрова, ты что делал, — только и спросила тетя Анфиса. Мне быстро соорудили маленькую вязанку, и мы пошли обратно.

Некоторое время после того первого похода я с опаской ожидал от тебя насмешек по поводу моей трусости. Не верилось, чтобы никто из вас не видел моего отчаянного и вместе с тем позорного состояния. Но все было по-старому, на улице ты продолжал оставаться моим верным подчиненным и бесстрашным защитником.

Через год и для меня походы за сушняком стали обычным делом. Я полюбил горы. Там было тихо, не верилось, что внизу часто режут сирены, рвутся бомбы. Я лихо прыгал по скалам, бросал сушняк в крутую и узкую лощину. Внизу маленькая фигурка укладывала его в две вязанки: большую и маленькую.

— Митюша, хватит, спускайся, да осторожно, — кричала бабушка. Когда шли домой, вязанка больно давила спину, веревки врезались в плечи, пот ел глаза, а ноги подкашивались. Но что-то делало это занятие радостным, легким, трудности вполне терпелись.

Федун, ты помнишь, когда в 1944 году мы пришли в первый класс и сидели за грубыми дощатыми столами на шатких высоких скамьях, ты все время шухарил, раскачивал скамью, заводил нашу молодую "учительку" Марию Андреевну и "разлагал весь класс", как говорила она: "Митя, ты же примерный мальчик и должен положительно влиять на Моноола, а не наоборот. Я вас расскажу". Она нас рассадила, но это ничего не изменило. Ты был неистощим на разнообразные проделки, часто жестокие, над девочками. С пацанами, в большинстве такими же, как и мы с тобой, переростками, устраивал постоянные разборки на переменах и после уроков.

Как-то Марии Андреевне вздумалось выпытывать у всех по очереди, кто чего сегодня ел дома. "Кукурузную кашу", — как сговорившись, отвечали все. В смятении ожидал я, когда придет мой черед отчитываться. Кашу мы не ели, обычно на столе был жидкий кукурузный суп, иногда в нем плавал поджаренный на постном масле лук. Были дни, когда ничего не было. Мать в такие дни часто впадала в истерику и в школу нас с братом не пускала. В этот день у нас был-таки суп, но мне почему-то стыдно было говорить правду. Я с ужасом чувствовал предстоящую свою униженность, но и соврать не мог. Щеки у меня горели, в висках стучало, я опустил глаза и молчал.

— Колбасу копченую он кушал, — сказал ты, нахально глядя в глаза учительке. Та прервала опрос и пошла к своему столу...

* * * * *

Дом нашего с тобой деда состоял из одной комнаты, темного чулана и крохотной кухни с глиняными полами. В кухне, кроме печи, умещался еще топчан, застланный вытертой овчиной, где всегда лежал дед. А комната была вечно заперта, два маленьких окошка закрыты зимой и летом ставнями. Меня волновала та загадочная комната, туда ни тебя, ни меня никогда не пускали. Бывало, ты стучишь в дверь, если что надо, и через дверь разговариваешь с матерью или старшей сестрой Надей. Где спал ты, не знаю, скорее всего, в кухоньке на полу у печи. Помнишь, Федун, однажды ты спросил шепотом: "Хочешь зайти в комнату?" С непонятной тревогой я вошел. Было темно. Когда глаза привыкли, я увидел икону в серебряном окладе, красноватые блики от горячей лампадки падали

на лик Богоматери с младенцем, казалось, огромные влажные глаза мигали. . . Пахло сладковато маслом. Поблескивал крашеный дощаной пол. У стен стояли две железные кровати, укрытые одинаковыми светлыми с синими узорами покрывалами. Вдруг захотелось поскорее выйти на свет. Ты глянул на меня вопрошающе и горько. . .

После начальной школы отдала тебя тетя Анфиса в пастухи. Виделись теперь мы с тобою редко, чаще вечерами, когда возвращался ты с гор в лохматых от бесчисленных дыр штанах, в мокрых постелах. Обычной улыбки на лице теперь не стало, ярко-румяные щеки стали коричневыми и шелушились. Ты молча сидел в канаве и тоскливо разглядывал нас. Однажды появился на улице с новеньким кожаным мячом. То был настоящий футбольный мяч за шестьдесят рублей, мы от удивления и восторга языки проглотили, а ты с ревом носился по улице, бил мяч раз за разом "свечкой". Выбежала с палкой в руке тетя Анфиса, лупила тебя, плакала и причитала "Мутимбистис, копрана, что кушать будем", схватила мяч и скрылась во дворе. На другой день ты сказал, что мать отнесла мяч в магазин и ей вернули деньги.

* * * * *

Каменистый пустой двор школы был тогда местом непрерывных футбольных баталий. Мяч весь в заплатках, вечно шипит проколота камера, но игра длится часами, порой до темноты, а бывало, и при лунном свете двор оглашался нашими криками. Раз как-то, бурые да мокрые, сидели мы в наступающим сумерках, переругивались, обсуждали баталию. Когда ты появился, я не сразу тебя узнал. Перебросились несколькими словами.

— В городе никого не боюсь, кроме Миши Казенного и Коли Попандопуло, — вдруг сказал ты и обвел всех твердым взглядом. Эти Миша и Коля были авторитетами в городе, первыми "мощаками", и ты старался походить на них, особенно на бесшабашного крепыша Колю. Ты уже не пас коз, где пропадал — не знаю. Резко раздался в плечах, над губой и на щеках появился черный пушок. Тебе неинтересно с нами. Я только на восемь месяцев младше тебя, а кто рядом с тобою? — Так, хлыстик из сирени.

— Ну, ладно, пошел на танцы, пока. Тями, если кто будет заедаться, скажи, отфундолю, — добавляешь ты небрежно.

А потом, когда деда схоронили, вы продали дом и уехали в Джамбул. Говорили, что ты был замешан в нескольких драках и еще в чем-то и что вовремя смылся. Вообще вас не трогали, но тетя Анфиса сказала,

что там есть ссыльная родня и, может, она поможет наставить тебя на правильный путь. Все оказалось не так. Неожиданно умерла твоя тихая сестра Надя от скоротечного туберкулеза легких, а вслед за нею ушла и мать. А ты быстро стал в авторитете у джамбульской интернациональной шпаны. Твоя сила и отчаянная смелость действовали безотказно. Но ты закурил травку, потом начал колотиться. Нужда в наркотиках толкала на воровство. Вор из тебя оказался никудышный, и ты попался. И пошло-поехало. Очередная отсидка была короткой – помогла амнистия 1953 года.

* * * * *

На стадионе в первомайский митинг кто-то сильно дернул меня за руку. Это был ты. Обветренные, потрескавшиеся губы, темное лицо, короткая щетка волос, но – ты. Одет в невиданно яркую с преобладанием красного цвета "румбу" на молнии. Глаза узкие и злые, рот в кривой улыбке, вспыхивает во рту золотая фикса.

— Я тут приехал погулять немного, — процедил ты нехотя. — Что? Откуда приехал? На севере был, лес сплавлял, за хорошую работу выпустили, - гордо и громко говорил ты. — Что?!

— Ничего. . .

— Ничего, так иди и не оглядывайся. И не попадайся мне на глаза, понял! — кричишь мне вслед.

Федун, ты, должно быть, помнишь ту последнюю нашу встречу. Все как-то непонятно и страшно. А ты продолжал катать дальше. Только приехав, обворовал приютившую тебя тетку и вынес на толкучку жалкие одежды. Тетка, в мыслях тебя не держа, пошла в милицию, там тогда четко работали, барахло быстро нашли, и двоюродный племянник опять покатила на лесосплав.

* * * * *

Следы твои потерялись на годы. Рассказывали, что ты нашел причал в Новороссийске, работал и даже женился. Да ненадолго. Потом услышали о твоей смерти. Смерти в тридцать семь лет.

2.3 Запах ромашки

Августовское солнце клонится к морю. Вкусен прогретый воздух в тени старого ореха. Цикады поют нестройно и лениво, баба Василиса сидит на низенькой скамеечке, рядом другие старухи. Вяжут толстые носки. Белые клубки порой скатываются в канаву, густо заросшую ромашкой.

— Митя, дай сюда шерсть.

Я наматываю нить, подаю клубок в коричневую с выпуклыми венами руку.

— Митя, иди сюда.

Подхожу ближе. Жесткая сухая рука гладит по голове, затем из бесчисленных складок темной одежды достается конфета.

— Папу помнишь?

— Помню.

— Молодец.

— Давно письмо получили?

— Давно.

— Вылитый Спирка, вылитый отец, — завздохали черные одежды, задвигались, заскрипели отполированными скамейками.

— Ну, иди играй.

И опять бесшумно мелькают спицы, пляшут в траве белые клубочки. . . А потом вдруг оглушающий гром обрушивается на землю, и я уже лежу на мягкой ромашковой земле, она вздрагивает, трясет меня и я судорожно хватаюсь за белые венчики.

Нестерпимый треск прошелся по крыше соседнего дома, будто кто сдирает дранку. Низкая тень проносится вдоль улицы, оставляя в двух шагах от меня булькающие фонтанчики пыли, еще и еще несется раздирающий уши треск, еще и еще мелькает тень от крыльев с крестами. Летчик утюжит улицу, где дети да старухи. Уголком глаза вижу прозрачный колпак и в нем человека в больших очках, похожего на лягушку. Лягушка глядит на меня, рот у нее оскален.

— Ми-и-и-тя! Ми-и-и-тя! Где ты?! Ну-ка, марш за мной, паршивец! Бегом под кровать!

Мать больно стискивает мне руку, другой я хватаюсь за ромашку, как за спасение от чего-то непонятного и страшного. Непонятен и страшен остался в ромашке клубок шерсти — белый на зеленом, в красных брызгах. Незнакомо лицо матери — белое и глаза белые. . .

Под кроватью в каменном доме грохот бомбежки тише и, хотя сыплется штукатурка и дребезжат стекла, мне уже спокойнее. Только руки пахнут ромашкой — горько и тревожно.

2.4 Кровать с панцирной сеткой

Ох уж эта кровать – панацея от всех бед. Где-то от удара бомбы рухнул дом. Расчищая завалины, обнаружили под кроватью с панцирной сеткой живых и невредимых детей. Вот нам с братом и была уготована долгая ”подкроватная” жизнь.

Но была до этого мокрая землянка в горах, где спасались многие от бомбежек. К зиме есть было совсем нечего. Голосов наших почти не слышно стало, а руки, тонкие и прозрачные, начали округляться и блестеть с голоду.

Мать сказала:

— Надо возвращаться в дом. Лучше сразу под бомбой умереть, чем смотреть как они пухнут.

— Армейцы не дадут помереть, — тихо согласилась бабушка.

...”Армейцы” из десантного батальона спят полураздетые вповалку. Сохнут черной горой на печи ватники и бушлаты. Ночью штормовой ветер доносит звуки взрывов, стрельбу и крики ”ура”. Говорят, скоро ”операция”. К ней десант готовится по ночам, а днями он спит, ест, отдыхает. Вот просыпается дядя Гоги, не поднимаясь кладет на грудь гитару, подмигнув мне, начинается:

— С Одесского кичмана

Бежали два уркана. . .

С улицы с холодным ветром врывается запах каши: принесли завтрак. Вскоре дружно гремят алюминиевые миски, запах еды непереносим и не оторвать взгляда от мисок.

— Нет, этим рисом я уже сыт в достатке, амба. Митя, высунь ручку из своего дота и забирай свою порцию.

Митя не заставляет себя долго ждать, чистая матросская миска скоро возвращается к хозяину.

...Бомбят город в одно и то же время. Говорят, можно часы проверять: в восемь вечера. Налету ”юнkersов” предшествует вой сирен, затем начинается частый и разноголосый хор зениток и крупнокалиберных пулеметов. И, наконец, наступает заключительная часть леденящей сердце увертюры: воют и гулко рвутся бомбы, пол дергается, кровать съезжает с места, мы с братом крепко прижимаем к ушам маленькие подушки, жмурим глаза, всеми силами пытаемся уснуть. Странное состояние полусна, наконец, приходит, взрывы кажутся глуше, голоса чуть слышны.

— Опять мину кинул.

— На парашюте зависла.

— Тише, пацан ворочается. И во сне, бедолага, подушкой ухо накрывает.

Кто-то вошел с улицы, холод прошелся по полу.

— Кусок рванул ножом и ходу. Бери, Маруся, то трофейный подарочек тебе. Детям рубашки сошьешь.

Из куска немецкого парашюта мать сшила наволочки. Но сон наш не стал крепче: виноват ли холодный и скользкий шелк, а, может, вечная чернота кровати над головой – не знаю. . .

2.5 Человек с Малой земли

Война была рядом, за горами. Горела и днем, и ночью красными всполохами, глухо рокотала и рокоту этому порой жалобно и тихо вторили струны гитары. Уходя с десантом, дядя Гоги повесил ее на стену.

— Пусть висит. Война кончится – зайду возьму, ну а если что – память будет.

Когда штурмом взяли Новороссийск и врага погнало дальше, бомбежки прекратились. В необычной тишине стояли душные сентябрьские ночи. Спали еще по довоенной привычке на полу, крепко и подолгу. Однажды за полночь разбудил стук в дверь. Мать повозилась с лампой-гильзой, наконец, она зажглась, закоптила. Открыла дверь и комнату заполнил острый запах тола. Вошел человек с черным лицом, в полутьме блестели лишь белки глаз и зубы. Он что-то говорил, но слышались лишь непонятные хриплые звуки. Рваная гимнастерка в темных пятнах расстегнута, едва различима под нею матросская тельняшка.

— Мама, это дядя Гоги, — говорю я. Человек часто кивает головой, странно и пугающе улыбается. Садится к столу, что-то объясняет руками, жестикулирует. Мать догадывается, находит и подает ему карандаш и бумагу.

— "Все ребята погибли, Меня контузило. Иду в 43-й госпиталь".

— "Георгий, оставайся до утра".

— "Нет, я пойду, не хочу детей пугать".

Он все время сам себе кивает, все так же улыбается, долго смотрит на меня, поднимается и подходит к гитаре. Снимает с гвоздя, проводит по грифу черной ладонью, гитара резко вскрикивает. Затем он осторожно вешает ее на место и идет к двери.

— Может, останешься, Георгий, куда ты в ночь, — тихо произносит мать, Но он не слышит, уходит.

Долго лежу с открытыми глазами, всматриваясь в темный силуэт гитары на стене, вслушиваясь в тишину: чудится, что струны чуть слышно звенят.

— Мам, чего гитара сама поет?

— Спи, то не гитара, то летает комар.

2.6 Пали, пацан!

Все ждали ее уже не один день, и все же она пришла неожиданно. Победа к нам пришла с моря, оттуда на рассвете донеслась беспорядочная стрельба, и вмиг люди высыпали во дворы. Небо прочерчивали трассирующие очереди, вспыхивали цветные ракеты. А улицы уже заполнили босоногие мальчишки, все, и я в том числе, неслись к морю, безотчетный восторг мчал нас наперегонки. Сквозь черные развалины искрилась огнями бухта, "охотники", тральщики, торпедные катера – все, что стояло на рейде – все стреляло и ухало в небо. В уцелевшем острове санаторного корпуса полураздетые моряки стояли в проемах окон, что-то кричали, били длинными очередями из ППШ в густо-синее небо.

— Победа! Победа! Ребятки, лови шоколад!

С балкона летели в мальчишескую толпу шоколад, галеты, сухари.

— Иди, пацан, сюда, — кричал высокий и худой человек в трусах, — давай руку, вот так, подтянулись! На автомат, пали в честь Победы, пали, пацан! — Прижимая с силой к себе и автомат, и меня, моим пальцем надавливал на курок – и огненные строки вшивались в общее яркое радостное шитье.

— Пали, пацан! Чтоб им ни дна ни покрышки, чтоб ты в первый и последний раз палил! — высоким голосом кричал он мне в ухо.

...Горячая капля упала и поползла по моей шее. Я глянул вверх: небо светлело, там не было ни тучки. А над горами разгоралась заря. Стрельба затихала.

2.7 Бисова нивира

В феврале сорок третьего немец стал бомбить и днем и ночью. С восходом солнца "Юнкерсы" возникали неслышными точками со стороны гор. Точки разрастались в черных птиц. Появлялся и нарастал вибрирующий гул. Взывали сирены, резко, с визгом начинали бить зенитки, выплевывая навстречу пикировщикам белые хлопья разрывов.

В мелкой щели, вырытой под старой сливой, я сидел на корточках. Под занемевшими ногами два кирпича, и нельзя пошевелиться: вокруг кирпичей вода. Сырая глина от глухих ударов сыпалась на голову и за шиворот. Но никакая сила не могла меня вытащить наверх. Цепенящий страх появился после того дня, когда одна из бомб упала на кладбище. Убило старуху с козой. Все пацаны с улицы понеслись туда.

Развороченный скальный грунт пахнул остро и сыро, на тлеющих ветках держидерева повисло что-то розовое и тоже пахло – сладко и приторно. Повисшие на ветках внутренности виделись мне теперь с на-

чалом каждой бомбежки, непреодолимый страх держал в щели. Даже есть не хотелось. Приносили еду в миске – я отталкивал, пытались вытащить наверх – я отбивался, орал и даже знакомого моряка укусил за руку.

— Маруся, пацан тут загнется, увези куда-нибудь на время, в горы, что ли. Есть где родня? — спросил он у матери.

— В Пшаде родня у нас.

— Это в сторону Туапсе? Там наш госпиталь, повезешь с ранеными, устроим. . .

В Пшаде тишина. Молчаливо село, молчаливы сиреневые горы вокруг. Журчит лишь небольшая речка Пшада, пенится на каменистых перекатах. Хата бабы Ксени стоит рядом с кавтебой. "Кавтеба" – небольшая заводь с зеленоватой водой. Гришка, мой троюродный дядя и ровесник, говорит, что там головни водятся.

— А рыбу можно глушить, — говорю я.

— Як это?

— Бомба упала в море, наглушила кефали, люди кошелками собирали.

— А гранатой можно? У мэнэ е. И запал к ней е. Пишлы в сарай, там сховал. . .

Из-под слоя сгнившей соломы Гришка извлек черную рубчатую "лимонку". Торчал запал с кольцом.

— А ты бросишь, не спугаешься? — Гришка недоверчиво ухмыляется. — Тут якись усы, кажуть, отогнуть надо. Тс-с-с. Ленька подглядуе. Вот дурный. . .

Ленька, старший брат его, прошел за стеной, сквозь широкие щели виден весь он – высокий, сутулый, в латанных матросских штанах, в засаленном ватнике. Чавкая постоломи по грязи, бормоча что-то, удалился. . .

В большой семье Павличенко все его зовут "дурный". Целыми днями рубит он в ущелье граб, берест, дикую грушу. Стук топора терпеливо повторяет эхо. Потом возит на телеге нарубленные жерди в село.

— Ннно-о-о, Красотка, ннно-о-о, трудящая моя, — хрипло кричит на коричневую кобылку и размахивает кнутом.

Я уже знаю, что кричит он страшным голосом просто так, когда въезжает в село, хочет обратить на себя внимание. И кнутом только размахивает, не стегает по костлявой спине Красотки. Однажды вечером слышал, как он в сарае с нею разговаривал.

— Йишь, йишь. Намаялыся мы с тобою. Гля, бока ще мокрые у тэбэ. Дай вытру. . . Мэни також жрать охота, та нэма ничего. Маты навить

макухи не дае, каже - не одному йишь треба. Та хйба воны так робят, як я, га?

Баба Ксеня тоже зовет его "дурный", вернее, не зовет, а кричит. В доме у Павличенко все кричат, как будто глухие... Много лет пройдет, а все в нашей семье будет жить понятная нам лишь фраза-вопрос "Что кричишь, как пшадский?" Будет мне вспоминаться Ленька, синие глаза его, постоянный укор в глубине их...

— Ах ты, бисова нивира, опять на горище забрався, опять сушку йишь! Узвар с чога варыти будемо? — баба Ксеня с кочергой в руке стоит у лестницы, смотрит вверх.

— Слазь, сатана!

— Ни-и-и, бытыся будешь, не слизу...

— А у лис кто пиде? Слазь!

Ленька медленно, опасливо спускается по ступеням. Прыгает с предпоследней и бежит, пригнувшись, к калитке. Баба Ксеня успевает огреть его по спине, тот взывает. Телега гремит по кочкам, Ленька кричит матери во двор:

— Дерешься, а мэнэ биты неможна, у грудях болыть у мэнэ!

— Ага, як робыть, так болыть, а як жрать — усе проходить! — несется вслед телеге...

"Лимонку" я не бросил, не успел. Трогал, щупал острые усики, когда вдруг, как из-под земли, вырос усатый красноармеец.

Стоп, хлопчики, давай сюда игрушку и пошли к мамкам, — цепкие пальцы прищемили наши уши. Так, как щенков, и привел нас к хате... Гришке досталось вожжами, а мне от матери — ореховой лозиной...

Леньке доставалось часто. То "робыть" не хочет, говорит, что болит у него внутри, а то вдруг совсем по другой причине.

— Мамка, купы мэни кустюм, жениться буду.

— Тю, дурный, на ком?

— На суседке, на той... На Верке Шихиди. Вона, як йиду мимо двора, смеяться...

— От я счас як поженю вожжами! — баба Ксеня проворно хватает со стены вожжи, Ленька с криком убегает...

Однажды из-за меня ему досталось.

— Ты поедаешь рис? — спросила мать, стоя у раскрытой маленькой наволочки...

Я часто с тоской поглядывал на эти единственные наши припасы — несколько килограммов риса, которые выменяла мать у какого-то интенданта за юфтевые отцовы сапоги. Мешочек после каждого жидкого супа становился все меньше, таял. А сейчас несколько рисинок на полу подтверждали то, что кто-то добрался до риса.

— Может, мыши забрались? — догадался я.

— Ага, на двух ногах, — буркнула мать.

На другой день пошли с Гришкой искать на берегу речки первый щавель. Когда запарились и захотелось пить — вернулись. Я открыл дверь комнатухи и увидел Леньку. Склонившись над мешочком, он обеими руками сыпал рис в рот, увидев меня, промычал что-то набитым ртом и побежал за двери.

— Митя, мамке не говори, — просил он меня во дворе, заглядывая в глаза. — А я тэбэ на кони покатаю, хошь? — Он забежал вперед, наклонился ко мне. На небритом подбородке повисла рисинка. . .

Но я рассказал об этом матери. Мать пожаловалась бабе Ксене. Вечером, когда Ленька вернулся из лесу, ему опять досталось вожжами.

— Людям самим йисть нечего, бисова нивира, — доносилось из-за двери. . .

Ленька ничего не сказал мне после этого. Смотрел только голубыми, как у врубелевского Пана, глазами, полными укора. . .

* * * * *

Через десять лет, летом пятьдесят третьего года, я приехал в Пшадду на несколько дней. Взял с собой самодельный фанерный этюдник с масляными красками и несколько клочков загрунтованных картонок. Баба Ксения стала еще меньше ростом, и даже Ленька показался мне не очень высоким, лишь на полголовы выше меня. Все так же сутулился, был очень бледен. Даже губы были у него белесыми, в трещинках. Мой первый этюд он одобрил, но заметил:

— От утром поидемо со мною у лис, там у мэнэ е таки красыви миста. Там срисуешь еще красивше.

Старая, с седой мордой кобыла не спеша везла нас по ущелью, каменистую дорогу без конца пересекала петляющая речка. Навстречу медленно плыли лесистые склоны, открывались все новые, синели в утренней дымке, проясняясь, приближались.

Тут усе повырубали, делянка теперь далэко. А ранише тилькы выйихав — от она, та делянка, рубы та грузы. . . А воно и хорошо, шо далеко. Йидешь — тыхо, птыци поють, ричка журчить. Тут я кожне дэрэво знаю, кожний камень. Ось бачишь — дычка? Там завжды груша сладкая спие. Лэжить пид лыстом на зэмли, прыморозить ии, а всэ одно укусная. Када совсим йисть булоничого, я пид тою грушей кормывся. Один раз кабан мэнэ спугнув. Прийшов и рое, а я быстро на грушу влиз. То сикач був, от таки клыки.

Ленька замолчал. Потом чуть улыбнулся и спросил:

— Мамка здорово была тэбэ за ту гранату? То ж я бачив, як вы с Гришкой ею грались, тоди солдату и сказав... Прыихалы. От тут пид кустом сидай та рисуй. От ту синюю гору рисуй. Она самая высокая, от-туда, кажуть, морэ видать. Называется Облыго. Там, кажуть, заброшени черкеськи сады. Ни, я там ни був, мэнэ никола, усе робышь, робышь. А так охота побачить морэ. Хоть с горы...

Он ушел рубить жерди. Я начал писать Облиго с заброшенными садами...

* * * * *

Весной следующего года тетя Тося, старшая сестра Леньки, торговала на базаре сушкой. Зашла к нам, отсыпала сушеных яблок и груш. Мать поставила варить узвар. Запахло вкусно и дразняще.

— Как вы там? Как баба Ксеня? — спросила мать.

— Ничего, бигае. А Ленька на той недиле помер. Усе кашляв, кашляв, та помер, — сказала тетя Тося...

2.8 Твердый

По раскаленной каменистой улице гремит телега. В телеге осклизлая коричневая бочка, сбоку примостился, свесив до земли ноги, здоровенный краснолицый мужик. Это городской золотарь Твердый. Одежда и сапоги на нем рыже-коричневые, и лошадь бредет коричневая, и все это движется едким пятном по белой дороге под вылинявшим летним небом. Над телегой шевелится прозрачное, невыносимого запаха облако, за телегой неслышно стелется, выплескиваясь через края бочки, жижа.

— Ветер дует, дождь идет,

Твердый золото везет, —

радостно вопим мы, бежим вслед и швыряем камни. Надрываются собаки, стремясь ухватить за огромные сапоги, а он улыбается, не пытаясь отогнать нас и собак. Зловонная телега скрывается за углом и слышно, как эстафету приняли пацаны и собаки улицы Комсомольской. Стук колес телеги уже не слышен, остался лишь ее запах...

* * * * *

О, как дружно откликнулась наша улица, когда появлялась телега с бочкой и Твердый низко и глухо выкрикивал "Кому почистить!"

"Чтоб ты издох, проклятый", – кричала бабка Егорова, стоя у своей калитки, и зажимала нос пальцами, когда телега проезжала рядом с нею. "Наверно, к Казанжи поехал чистить", – сообщала ей стоящая через улицу у калитки тетка Нюся и морщилась, и зачем-то размахивала рукой у лица, как бы отгоняя назойливую муху.

Так и существовал Твердый во всеобщем презрении и ненависти города, где в каждом дворе были дощатые, фанерные или из чего попало сделанные небольшие строения, без периодического опорожнения ям, над которыми стояли эти строения, никак нельзя было обойтись.

Городской золотарь имел жену и двоих детей, но жил одиноко, поскольку жена выгнала его. располагался он в сарае-мазанке, спал на сене рядом со своим конягой. Вечером, не зажигая огня, шуршал в своей берлоге, пил из горлышка привычную поллитру, изливал скотины непонятные ей жалобы и засыпал мертвым сном. А чуть свет облачался в панцырь-робу и ехал по улицам в гремящей телеге, выкрикивая изредка "Кому почистить".

Иногда ночью Твердый поднимался окраинной улицей под гору, где в хате под черной драночной крышей проживала жена с сыновьями. Он неслышно и осторожно топтался под окошком, стараясь разглядеть хоть что-нибудь в узкую полоску света между занавесками. Потом тихо отворял двери в сени, поднимал ведро с водой с табурета, подсовывал под ведро комок денег и уходил. Утром жена доставала деньги из-под ведра и деловито считала их.

Одежду свою носил твердый "до упора", до тех пор, пока она не начала рассыпаться, будто горелая. Тогда приобреталась другая, некоторые клиенты охотно расплачивались за грубую, но неотвратимую услугу старым ватником или брезентовыми штанами. Хуже было с обувью – сапоги сорок шестого размера были редкостью, чинить или шить никто не хотел – все брезговали. Только молчаливый сапожник Спира жалел Твердыя и брал у него сапоги в ремонт. Твердый ходил к тому в нужный срок, как на праздник, кроме денег, нес с собой водку, каждый раз забывая, что Спира был непьющим сапожником.

* * * * *

Уже после войны случилось: пошел он к сапожнику, да не нашел того. Спира не вернулся с войны. Выпивший Твердый шел, держа под мышкой расквашенные сапоги, сокрушался и плакал: "Кто ж теперь будет чинить мне сапоги? Проклятая война, позабирала усих добрых людей"...

2.9 Капитан "Ярмарки"

— Команде "ярмарки" на-а-а-ш привет!

— Команде "церковников" на-а-а-ш привет!

И вмиг босоногая, как и мы, воинственная команда противника бросается на нас. Вместо игры после приветствий – драка, скоротечная и яростная, но двух – трех разбитых в кровь носов достаточно, чтобы вспышка обиды погасла, лишь выкрики угроз еще разносятся по стадиону да Юрка Чуфут, круглоглазый, кажется, весь состоящий из одних острых углов, наскакивает на меня, твердыми, как железо, ногами норовит поддать мне под зад, а я увертываюсь, оба мы исполняем, наверное, смешной танец, длинные черные трусы Юрки полощут вокруг тонких ног, как паруса пиратского брига на просоленных мачтах.

— Уговор был! Не "церковники", а "приморцы" . . . "приморцы" мы, ясно? — зло шипит он.

Ясно-то ясно, но еще с довоенного времени мальчишек портового района, самых отчаянных и драчливых в городе, звали "церковниками". Виною тому церковь, белая, с голубыми маковками, поставленная вблизи моря, а сейчас зияющая красными кирпичными ранами, но устоявшая в жутких недавних бомбежках. А мы, жители предгорного района, зовемся "ярмарошниками", "ярмаркой". Говорят, с давних времен большой каменистый двор нашей первой школы был местом торга лесом, дровами, валежником. Школа белой мишенью стоит на пустом возвышении, бомбы падали рядом и стены из крепкого горного камня все изъедены осколками. "Ярмарка" жила, окружая школу полуразрушенными домами, по давней традиции сражалась на заросших колючками стадионе с "церковниками" и нередко футбольные баталии, длившиеся по два часа, до изнеможения, сопровождалась, как сейчас, злыми потасовками.

Не получается игра. Чуфут все время, как привязанный, носится за мною, мяча не видит, норовит все подцепить меня по ногам. И что у него за ноги? Мои уже все в синяках да в зеленоватых желваках, а ему хоть бы что. Не зря зовут его еще Костылем. Когда же Васька-Пузырь очередной раз зафутболивает наш кривобокий, лохматый от латок мяч "пыром" – тот приземляется как раз в зарослях держидерева, шипя, испускает дух, возвещая об окончании игры.

— Пузырь специально мяч проколол. Вы вам сегодня дали бы — раздаются крики нам вслед. Прихрамывающая, взъерошенная "ярмарка" в окружении мелюзги – пацанят – бредет вверх по улице, в свой стан. Там, сидя в заросшей ромашкой канаве, она будет громко обсуждать неудавшуюся встречу, в который раз латать покрывку, клеить камеру, с нетерпением готовиться к следующей встрече с командой Чуфута.

Болят ноги, особенно правая "дощечка" ниже колена. Накостылял-таки мне Юрка, мать опять будет клясть "дурацкую игру", потом прикажет поливать огород. Но обошлось без полива и без проклятий футболу. Уже у самой калитки начались неожиданности. Стояли, о чем-то говорили и совершенно не обращали на меня внимания мальчишка и девчонка, сразу видно, не наши, приезжие. На веранде метнулась мне навстречу еще одна, помладше, ростом с меня, с бантами в косах, круглолицая и румяная.

— Здравствуйте, вы Митя? Что вы такой красный и злой, подрались с кем? А Мария Васильевна сказала, что вы нам с Аллой покажете море. Меня зовут Ира.

— Они из Краснодара, квартиранты наши, на две недели приехали, ты ораву свою не води до дому, - шепотом говорит бабушка. — Отец у них из этих, из военных, что в фуражках с голубым ходют.

— Умойся, причешись, — заглядывает в комнату мать. — Господи, на кого похож, — горестно стонет она. — Штаны опять порвал? Они же вечные, с прошлого лета только носишь.

Порвать их действительно мудрено: сшиты руками матери из куска солдатской плащ-накидки, гремят, как жестяные, но удобны к зависти многих: на пуговицах ниже колен, с поясом, расстегивающимся "поморскому" — откинь переднюю часть и накладывай абрикосов до пупа. Никакие карманы не вместят столько. Передвигаться, правда, трудно, а убежать особенно, это единственный недостаток штанов. Где-то, в ничьих садах, в посеченных осколками ветках и зацепился, теперь этот карманище дыряв, даже кислая алыча в нем не задерживается.

Платья у моих спутниц шелковые, белые, в косах банты, тоже шелковые и белые, на ногах белые носки, белые сандалии. Иду в их окружении, как под конвоем. Только бы не увидел кто из наших, не хватало, чтобы болтали, что "Коча прогуливается с какими-то барышнями." Иду с оглядками, остановками. Ира смотрит вопросительно, Алла чего-то усмехается, поглядывает на часы, фасонит. Потом, вдруг, помахав ладошкой, поворачивает и быстро уходит назад.

— Она к Олегу пошла, он ее одноклассник и они дружат. А вы с кем-нибудь дружите? — Ира говорит и спрашивает без умолку, не ожидая моих ответов, не видит ни развалин вдоль улицы, заросших метровой крапивой, ни моих порванных штанов, ни синяков да ссадин на босых ногах.

Слабый накат теплой волны шуршит галькой, переливается в амбразуру дота, на котором мы стоим.

— А в этот корабль тоже бомба попала? — указывает она на ржавый остов полузатопленной румынской баржи "БДБ", косо выглядывающей

из воды метрах в трехстах от берега.

— Ага, а там в трюме снаряды есть и скелеты.

— Какие скелеты? Вы откуда знаете?

— А там дырки в палубе, мы ныряем. Васька снаряд достал, а я автомат, "шмайссер" называется. Только ржавый, я его кирпичом чистил.

— Настоящий автомат? Покажешь мне? — переходит она на "ты".

— Покажу, только никому не говори. Спрятал его в одно место, тут милиционер недавно ходил, шарил по дворам, у Борьки Лагутина пулемет нашли с "мессера".

— "Мессер" это что?

— Немецкий истребитель. Его наш "МиГ" сбил, он на виноградник упал, аж в землю носом зарылся. Пулемет валялся рядом и летчик, выбросило их. Пока солдаты подбежали, Борька его и утащил. А фриц лежит, комбинезон на нем голубой, а морда вся черная. Осмолило. Только поразогнали нас, как рвануло.

— Что рвануло?

— Бак рванул, что еще. "Мессер"-то горел.

Ира молчит, недоверчиво и испуганно заглядывает мне в лицо.

"Зря болтнул про автомат, — злюсь я на себя. — Ну, ладно, девчонка вроде ничего, чудная только, как с луны свалилась, "мессер" не знает."

Вечером дом и даже двор наполняются вкусным дразнящим запахом: квартиранты готовят ужин. В дальнем углу двора, на тутовнике, спасаюсь от этого запаха. Шарю наощупь в листве, выбираю липкие мягкие ягоды, жую и глотаю их приторную сладость, пытаюсь заглушить сосущее чувство голода. Под деревом неслышно возникает белая неясная фигура.

— Митя, где ты? Обещал же показать свой секрет.

"Кукиш тебе, а не секрет, обойдешься". Затаившись в ветках, злорадствую, что не найти ей ни в жизнь меня, слабо в своих белых сандалиях лазать по деревьям.

Летние дни заняты до предела. До поры, когда жара спадает и "ярмарка" начинает стекаться в зеленую канаву у нашего двора, готовиться в поход к "церковникам", многое мне нужно сделать: рано утром сходить в горы за валежником, притащить на спине колючую вязанку, порубить сучья, успеть утром же полить кукурузу с фасолью. Земля серая и сухая, как зола, початки засыхают, фасоль плохо цветет, не тянет в рост, не обвила стволы кукурузы и наполовину.

— Что зимой делать будем, — не знаю. Помирать опять будем, — бабушка сдирает, распутывает с кукурузы вьюнок, он почему-то растет хорошо, дотягивается до самых метелок. Частые напоминания ее о голоде,

о том, что нечем кормить нас, всегда вызывают у меня тоску, заполняющую всего так, что руки и ноги слабеют и ведра с водой становятся еще тяжелее.

— Бабушка, а вот еще усы выбросила, уже три початка будет, — неуверенно противоречу ей, тщетно желая отогнать гнетущий страх перед вечным врагом военного и послевоенного детства, — голодом.

Запахи, от которых кружилась голова, исчезли в тот день, когда к дому подкатила черная легковая машина. Быстро прошел солдат-шофер с двумя чемоданами, все уселись на красные сиденья, машина, подняв белую пыль, тронулась. Ирка высунулась, крикнула: "Приезжайте к нам в гости".

* * * * *

— Прибегали к тебе из школы, сказали, чтобы пришел, — сообщает мать. — Тамара, вожатая ваша, передала собирать тебя, на слет пионеров поедешь в Краснодар. Во что одеть тебя — голову сломаешь.

Мать ворчит, но вижу, это больше так, для виду, а сама довольна. Штаны длинные и широкие, перешитые из синих диагональных галифе, у меня есть, на колене, правда, круглая латка, но она маленькая, как пятак. К ним есть зеленый тесьмянный ремешок, есть рубашка белая, галстук пионерский лежит отглаженный. Чувяки есть на толстой резиновой подошве, вырезанной из автопокрышки.

— Тамара Алексеевна, а почему я?

— Ну, а кто же, Митя? Ты — отличник, председатель совета отряда, активист, в футбол хорошо играешь. Тебе дружина большую честь оказывает, а ты не ценишь этого.

"Да ценю я, ценю, только послезавтра игра, зарубят наших без меня," — думаю я.

— Сынок, вот адрес квартирантов, уезжали когда, приглашали в гости, может зайдешь, если отпустят, Ира ихняя особенно звала. Отец только какой-то надутый да злой, да ты не обращай внимания. . .

Сидим в зале драматического театра, сцена в красных лозунгах и цветах, у знамен — пионеры в карауле меняются, а за большой трибуной выступают ребята друг за другом, рассказывают, кто сколько колосков собрал. Мне слушать про это неудобно: у нас ни колосков собранных, ни кукурузы налущенной.

Потом нас ведут в столовую. Перловый суп и кашу рисовую съедаю быстро, вожатая приказывает сидеть, пока все не поедят. А чего там есть так долго, супу — полтарелки. Терплю. Сказали, после обеда — кино.

Картина – “Секретная миссия”. Так себе. Лучше бы показали “Путешествие будет опасным” или “Мститель из Эльдорадо” – я их раз по десять смотрел. После сеанса, по программе первого дня слета – экскурсия в парк культуры, время как бы свободное.

— Тамара Алексеевна, тут рядом знакомые живут. Можно сходить?

— Сходи. Но не надолго. Мы будем в парке. Не заблудись, — напутствует она меня.

Не заблудился и нашел быстро. И вот как. У дощатого забора стояли Алла и Олег, когда подошел вплотную, лишь тогда повернули головы.

— Ты откуда? — без удивления спрашивает она. Он молча смотрит мне в живот, на ремешок, я это чувствую, потом ниже, на брюки и обувь мою, кривая улыбочка ползет у него по лицу.

— На слете? На каком? Пионерском? Ну, проходи, Ирка, кажется, дома.

Высокие двустворчатые двери, крашеные белой краской, блестящая желтая ручка - все, кажется, смотрит равнодушно и высокомерно. Идти дальше неохота, но я вхожу и сталкиваюсь с Иркой.

— Ты – делегат краевого слета? А почему галстук без зажима? Мама, папа, а Митя делегат!

Меня окружают и, кажется, удивленно разглядывают. Отец Иркин в расстегнутом кителе, смотрит подозрительно, курит, хмыкает: — Ты – делегат? Где ремень такой достал? Ну-ну... А чего к нам пришел, вас там, что, чем-нибудь занимают? Что делаете на этом слете?

— Виктор, перестань, неудобно, — это говорит мать Ирки.

— Тебя Митя зовут? Пошли со мной, пошли, — под руку в боковую дверь уводит меня седая и маленькая бабушка. Она тоже круглолицая, как Ирка. Закрывает двери за нами, усаживает за большой стол.

— Посиди здесь. Я сейчас.

Комната, наверно, столовая. У одной стены шкаф, за стеклами в нем много красивой посуды, вокруг стола стулья с высокими гнутыми спинками. У другой стены стоят высоким узким ящиком часы, тихо и редко стучат. Часов у нас таких не было, а стулья с гнутыми спинками были до войны, до бомбежек, — это я точно помню. А когда мы при первом налете убежали в горы и там прятались, кто-то двери сломал в доме, унес не только стулья, а много чего: велосипед, патефон, машинку швейную “Зингер”, костюм и пальто отца. Даже наперники пораспарывали и пух из перин лежал легким слоем на полу, шевелился, как живой. “Одни воюют, а другим война – мать родна, это ж хуже фрица сволочь какая-то,” — кричала и плакала мать... .

Входит маленькая Иркина бабушка, ставит передо мной невиданных размеров расписанную красными розами кружку с чаем, накрытую боль-

шим куском белого хлеба. Хлеб толсто намазан маслом.

— Ешь, сынок, — говорит она и опять уходит.

А мне вдруг хочется убежать отсюда, где-нибудь в траву упасть и плакать. Но эта огромная кружка со сладким чаем, этот хлеб, пахучий и мягкий. . . Не могу убежать.

Я откусываю большие куски и поспешно давлюсь то ли хлебом, то ли слезами. . .

2 Рассказы о Ленине

3.1 Скамейка

Харламбий Чикура вернулся с войны хотя и поврежденным в нескольких местах, но вполне крепким инвалидом, а тут оказалось, что жилье порушено вражеской бомбой и жена скитается по чужим углам. Вскоро же под воздействием упорного характера и инвалидности дали ему самостоятельное жилье в виде турлучной хатки с прилегающими шестью сотками земли. Все бы ничего, да была там раньше контора Заготовторсырья, перед которой на клумбе стоял монумент, изображающий товарища Ленина и товарища Сталина, сидящих на скамейке и занимающихся дружеской беседой.

Чикура поначалу не знал, что с ними делать, но паниковать не стал, наоборот, решил взять попечительство над вождями, используя свою непосредственную близость к ним, поскольку они дислоцировались в его огороде, как раз между огурцами и баклажанами. Перво-наперво добился через горком партии дважды в год бесплатного отоваривания дефицитной олифой и белилами для внешней отделки вождей, которые под воздействием природных сил жухли и принимали шарлатанский вид. У Ленина, если с расстояния смотреть, казалось, будто пиджак в локтях продрался, а у Сталина была посторонняя видимость повреждения головы.

Чикура был неутомим в постоянной заботе о вождях. Скоро для их капитального ремонта стал регулярно выписывать цемент, известь, кирпич, даже доски "сороковку" для ремонта скамейки, на которой шло собеседование вождей, хотя все было в свое время сделано только из крепкого новороссийского цемента марки "600". Таким образом, из-за беззаветной преданности вождям Чикура без малого за тридцать лет перестроил свою хатку в двухэтажный особняк, не считая гаража с машиной, летней кухни с газом и прочими удобствами. И это невзирая на то, что в 1956 году из-за ликвидации культа личности смету на материалы уреза-

ли вдвое, а товарища Сталина как ненужный элемент Чикура самолично снял с лавочки и разбил на мелкие кусочки, из чего потом была отличная трамбовка для подъезда к гаражу.

В таких постоянных заботах он незаметно похоронил жену и дальше сам занимался всеми домашними делами в полном объеме, выращивая различные овощи и виноград "Изабелла".

Чикура привык для отдыха посидеть на свободном месте и, наверное, по причине наступления старости часто беседовал с оставшимся целым вождем, хотя тот вовсе не отвечал, а только хитро шурился. Тематика таких разговоров была самая разнообразная, правда, пить и закусывать тот отказывался, но Чикура не обижался, зная, что собеседник принимал пиво, и только швейцарское. Иногда вместо Ленина в собеседники приходил сосед, что через улицу, по имени Иван Убогий. Тот хоть и носил с самой войны не снимая сапоги да галифе и был при усах, но тоже знал толк в домашнем вине.

В тот трагический вечер Чикура, прихватив трехлитровый баллон с молодой "Изабеллой", ушел до еще красивой Матвеевны, которая долго была завскладом стройматериалов и за многие годы пристрастилась не только к чикуровскому вину, но и самому Харлампию Чикуре. К вечеру с опорожненным баллоном приблизился он к своей калитке и тут услышал чей-то разговор со стороны известной всем скамейки. Подойдя по дорожке поближе, увидел порушенного когда-то Сталина, который как ни в чем не бывало сидел вплоборота к Ленину и говорил про то, что Чикура допоздна шляется, а он хочет его видеть.

Харлампий почувствовал, как в груди стало нестерпимо жарко, а в голове пошел звон, и опустился на колени. Сталин же не стал слушать его мольбы о прощении, сказал только, что побалакает обо всем завтра, и ушел через калитку, почему-то шатаясь.

На другой день "скорая" увезла Чикуру на Революционную 4, где был желтой покраски дом и где мордастые санитары было упаковали его в рубаху с длинными рукавами. Однако, вскоре ходил он там уже свободно, поскольку оказался смирным, только слегка помешанным или, говоря по-ученому, с синдромом навязчивых галлюцинаций.

3.2 Ходоки

Когда застойное время начинало сильно крепко застаиваться, эти надписи и появились на горных склонах. "Миру-мир", "Слава КПСС" и "Ленин с нами". Говорили, что это сделала по своей инициативе комсомольская молодежь, но на самом деле так ради идеологии утверждалось, вся молодежь тогда поголовно кадрилась на "Орбите", иными словами, мало-

подвижно обнималась, то есть танцевала. Надписи из горного туфа и прочих каменюк соорудил заслуженный культмассовик Папа-Сидоров, придумав водить в горы отдыхающих как бы в турпоход, а на самом деле с целью потрясти калории и полюбоваться бесподобным видом на город и море. Им пару пустяков было собрать сколько требовалось камней для лозунгов, хотя каждая буква имела высоту в шестнадцать метров. Само собой, лозунги в начале были согласованы с горкомом, там, в свою очередь, получили добро из краевого центра и столицы Кубани.

Ох, и любили же мы, чего скрывать, с восхищением друг дружке рассказывать про то, как здорово те надписи смотрятся с моря, особенно если утречком с прогулочного теплохода. "Ну ничего не видно, — говорили мы, — ни города, ни берега, все в тумане, а они, то есть надписи, как бы плавают в небесах." Самый же кульминационный момент наступал к ночи, когда дежурный электрик, что с ретрансляционной вышки, поставленной поблизости на горе, зажигал гирлянды лампочек и рядом с "Ленин с нами" светился контур большой головы в профиль, точь-в-точь как в Кремлевском дворце съездов.

Теперь же, когда трудности существования усилились, отчего всякая устная и письменная идеология поменялась на бывшую враждебную, некому стало поддерживать те каменные надписи в рабочем состоянии, тем более, что здравницы почти все позакрывались из-за дороговизны путевок, а Папа-Сидоров ушел на пенсию как массовик аж довоенного поколения. Там, на горе, теперь слегка белели заросшие травой и кустарником совсем малоразборчивые письмена, как бы иероглифы или клинопись.

Вскоро же наши старики-ветераны из самых активных на специальном собрании сказали себе и другим, что не позволят слепой природе разрушить до конца память о великом вожде. Решили они организовать поход с целью ремонта и восстановления каменных слов касательно имени вождя и того, что он с нами, то есть с ними.

Спозаранку немногочисленный, но ударный отряд отправился в путь. И хотя наши горы — не Эверест и даже не Пик Ленина, добрались до цели в самое что ни на есть жаркое летнее пекло по причине одышки и прочих всяких накопившихся болезней. Природа, действительно, надругалась над теми святыми словами. мало того что всякий бурьян и даже колючка держи-дерева проросли на священных камнях — многие каменюки дождем посмывало аж в само ущелье. Имея в виду перечисленные негативные обстоятельства, а также крутизну склона, ходоки к Ленину не в силах были выполнить поставленную перед собой задачу, отчего спустились вниз совсем разбитыми физически и морально.

Однако, это был не тот народ, который так просто пасует перед труд-

ностями.

— Большевики не сдаются, — говорили они на следующем собрании и решили бросить клич до молодежи, до ее лучших душевных качеств. Оттуда был цинический ответ насчет того, что умный в гору просто так не пойдет, а пойдет за плату.

Учитывая громадность букв, а также крутизну склона, молодежная сторона запросила по бутылке водки за каждую восстановленную букву. Ветеранская сторона поначалу сказала, что у молодежи нет ничего святого, но из-за безвыходности положения быстро сдалась. Получив задаток стоимостью за первое слово, стриженные ребята в белых кроссовках пружинистым шагом быстро добрались до места работы, где начали дружно трудиться до поры когда захотелось закусить да выпить. Тут же, на камнях, используя их как стол и табуретки, организовали кощунственный пикник, большими глотками и залпом расходуя тот самый задаток.

После пикника работали еще дружнее, только хохотали громче, аж парочек пугали, которые располагались в нижних кустах под горой.

Утром те из ветеранов, кому больше всех не спится и больше всех надо, загоротившись ладошкой, стали внимательно всматриваться в буквы, выступающие сквозь туман. Они были, как прежде, ясными, но общий текст там был: "Леший с вами".

Не в силах терпеть такое надругательство, обратились они было к прокурору с целью привлечения нового поколения к ответственности. Прокурор же только посочувствовал, сказал, что нет основания и вообще в таких случаях надо заключать трудовое соглашение по всей юридической кухне. Так и сошло это молодому поколению. Но, дождавшись очередной пенсии, старшее поколение по ведомости и под роспись опять собрало кое-какую сумму денег и стало искать с новой энергией, кого бы нанять на святое дело. Тут вдруг выяснилось, что на турбазе "Солнечная" объявилась группа альпинистов-ленинградцев, которые из Санкт-Петербурга. Скалолазы согласились помочь, но отказались от вознаграждения и даже от задатка. Притом сказали, мол, Бог с вами, отцы, нам это плевое дело вместо рядовой тренировки, и вообще не надо "стучать ложками".

Опять наступило долгожданное утро. Всякий отдыхающий народ, а также местные старожилы и пассажиры теплоходов, плывущих в разные стороны, читали новую надпись на горе: "Бог с вами"!

Ветераны опять было хотели поднять бучу, но отхлынули, когда прокурор, в прошлом сам коммунист, намекнул, что по существу те скалолазы правы, ведь Ленин и был для всех вместо Бога.

Задумчиво и тихо старшее поколение побрело каждый к себе до-

мой. А заезжие альпинисты в тот час ехали в купейном вагоне поезда Новороссийск-Ленинград, то есть Санкт-Петербург.

Содержание

0.1	Дмитрий Спиридонович Попандопуло	2
0.2	От автора	2
1	Понтийские истории	3
1.1	Христо-борец	3
1.2	Аристика	7
1.3	Лия - директор хлебозавода	11
1.4	Бдительность	14
1.5	Прометей	16
1.6	Колочий	18
2	Я это помню	22
2.1	Когда отец устанет	22
2.2	Федун, ты помнишь...	25
2.3	Запах ромашки	29
2.4	Кровать с панцирной сеткой	30
2.5	Человек с Малой земли	31
2.6	Пали, пацан!	32
2.7	Бисова нивира	32
2.8	Твердый	36
2.9	Капитан "Ярмарки"	38
3	Рассказы о Ленине	43
3.1	Скамейка	43
3.2	Ходоки	44